**Иван Тимофеевич КАЛАШНИКОВ**

**ДОЧЬ КУПЦА ЖОЛОБОВА**

*Роман, извлеченный из иркутских преданий*

**ЧАСТЬ I**

**ГЛАВА I**

Из губернских городов Сибири Иркутск, бесспорно, есть больший и красивейший. Он стоит на мысу, омываемом с запада и севера Ангарою, а с Востока небольшою речкою Ушаковкою; на юг примыкается к горе, называемой Петрушиною, с севера также представляются горы в виде амфитеатра, посреди которого величественно протекает Ангара. В самом центре сего амфитеатра возвышается гора Верхоленская, на правой стороне – Клубничная, а на левой, за Ангарою, – Кузьминская, за которою по обширной долине протекает маленькая речка Кая. Вообще местоположение Иркутска прекрасно, о чем мы подробнее скажем в продолжение сего романа. Строения иркутские также очень изрядны и время от времени улучшаются. Домов каменных есть около ста, деревянных тысяч до двух и церквей казенных до пятнадцати. Эпоха улучшения сего города начинается лет за двадцать. Теперь, к удивлению приезжающих, встречаются в нем прекрасные, большей частью окрашенные дома, улицы также большей частью прямые, инда снабженные тротуарами, хороший публичный сад и даже... кофейный дом – самый ясный признак просвещения.

Но лет за восемьдесят в Иркутске много было не по-нынешнему. Город был обнесен деревянною стеною с башнями. Близ ангарской стены находилась то старое казначейство, которое так долго стояло в одиночестве, как старец, переживший всех своих товарищей юности. Недалеко от него была губернская канцелярия, а близ нее стояло небольшое строение, обнесенное тыном и называвшееся застенком: это было место пытки. Кажется, во всем городе была только одна каменная церковь, Спасская, подле которой чернели кресты древнейшего в Иркутске кладбища.

Едва ли можно найти в Иркутске людей, которые помнили бы городские стены ненавистный застенок и проч. Не многие также помнят сей полуразвалившийся деревянный дом, который стоял на площади против Тихвинской церкви. Полуспадшая крыша, разрушенные трубы, разбитые окна все представляло, что дом сей стоял пустым, и народная молва населяла его кладами и привидениями.

Последний владелец сего дома был один из лучших тогдашних граждан, купец Андрей Иванович Жолобов. Неутомимо трудись в течение долголетней жизни, он приобрел значительное имение; но, не быв жаден к богатству, сократил под старость торговые дела свои и большую часть времени посвящал молитве, благотворению и воспитанию единственной дочери. Каждую субботу двор Жолобова наполнялся бедными, и Наталья всякий раз получала от отца поручение, самое лестное для ее доброй души, – раздавать им полной горстью деньги.

Наталья особенно любила помогать бедной своей няне, у которой хижина находилась недалеко от дома Жолобова. Она посещала ее почти каждое утро, но никогда не приходила с пустыми руками. Няня любила ее как родную дочь, за то и Наталья любила ее не меньше матери, которой она лишилась еще в младенчестве. Но одно ли сие чувство побуждало Наталью так часто посещать свою няню – это была тайна не только для других, но и для сердца самой Натальи.

Няня имела у себя воспитанника. Он был сын бедного копииста Кремнева. Отец привез его восьми лет из Нерчинска и, сорок лет прослужив в высоком звании копииста, оставил в наследство сыну одну нищету и круглое сиротство. Добрая старушка, у которой он стоял на квартире, сколь ни была обделена сама недостатками, не могла, однако ж, решиться отпустить несчастного мальчика бродить без пристанища и воспитывала его с такой же заботливостью, как бы родного сына.

Алеша вполне соответствовал попечениям своей воспитательницы: был мальчик скромный, понятливый и прилежный к учению, так что на двенадцатом году он знал уж хорошо грамоту, которой выучивались тогда с большей трудностью, чем ныне астрономии. Благотворное царствование Екатерины Великой еще не озаряло России в сие время: народных училищ не было, и просветителями юных умов были старые подьячие, у которых весь курс словесности состоял из Букваря, Часослова и Псалтыри. Воспитательница Алексея, заплатив целый безмен масла за одну из двух первых книг, не была в силах заплатить за последнюю и потому всячески старалась поскорее записать своего воспитанника в службу. Первый оклад жалованья, определенного Алексею, правда, не был отличный: ему положили по девяносто три копейки в треть, но воспитательница его умела скопить и из сего жалованья небольшую сумму и сшить ему изрядную пару китайчатого платья. Так было тогда все дешево!

Алексей служил с таким же усердием, с каким учился. Он приходил к должности всех ранее, работал до упаду, все приказания исполнял скоро и точно, со старшими был почтителен и вежлив с товарищами. Сим поведением Алексей предохранил себя от всех жестокостей, которые тогда были так обыкновенны во всех канцеляриях, особенно же в иркутской. Там, на полу приказной комнаты, были приколочены четыре кольца, и посреди их при содействии отеческого наказания возвещались вечным копиистам великие истины усердия к службе и доброго поведения, ибо качества сии подвергались большой опасности каждый раз, когда приказные проходили мимо питейного дома.

Но сколь ни старался Алексей вести себя осторожно между сим особенным родом людей, какой составляли тогдашние приказные, огрубелые от побоев и пьянства, однако ж не мог избежать их злобы, Чем больше переносил он их ругательства, оставляя без ответа или отвечая самым скромным образом, тем более они восставали на него. Можно сказать, что он был между ними живой совестью, которой присутствие мучило их смертельно. Особенно один – с приписью Федул Меркулович Запекалкин – более прочих грыз на него зубы. Трудно изобразить, что за существо был этот Запекалкин. Нравственные качества его от времени и привычки слились, в две господствующие страсти: во-первых, брать все и где только представится случай; а во-вторых, свободное от дел, время посвящать Бахусу. Последняя страсть воспользовалась своими правами и положила явственную печать на носу своего поклонника. Нос Запекалкина был сущий барометр его души. Когда он краснел более обыкновенного, то это предвещало, что в душе Запекалкина восстала страшная буря. Над сим метеорологическим носом выглядывали исподлобья лукавые лисьи глаза. Одним словом, если лицо есть зеркало души,– его было самое невыгодное. Физиономии его соответствовала и одежда. Многие из его товарищей не могли припомнить времени, когда он в первый раз надел свой китайчатый сюртук, а цвет его уже убежал из памяти самого хозяина, таясь многие годы под слоями сала, чернил и проч. С сюртуком согласовались сапоги, столь же древние и ветхие, равно и шляпа, походившая более на колпак, потому что честный Запекалкин имел прекрасную привычку набивать ее казенной бумагой, которую он относил всякий день на жертвенник Вакха.

Однажды после обеда Алексей сидел один в канцелярии. Хотя он и всегда работал прилежно, но в этот раз чувствовал какую-то особенную охоту. Все делалось так легко и скоро. Таинство заключалось в веселом расположении души Алексеевой. Мечта-обольстительница раскрывала пред ним очаровательные картины будущего, и в сладостном умилении сердца он хотел броситься на колени пред образом... как вдруг с шумом растворилась дверь. Алексей вздрогнул и, оглянувшись, с ужасом увидел красный нос Запекалкина. Если бы и сам дух злобы явился Алексею в сию минуту, то не более устрашил бы его. Все мечты, сейчас его обольщавшие, разлетелись как пар; и в сердце осталась одна убийственная грусть. Он тяжело вздохнул.

– Что так печален, молодчик? – насмешливо спросил Запекалкин. – Ну да как не запечалиться. Вишь и другой пришел так же рано к должности. Ах ты, выскочка проклятая! Мы сорок лет служим верою и правдою государю, а у тебя еще на губах молоко не обсохло, да хочешь взять верх над нами. Не бывать этому! С волками живешь, так и вой по-волчьи.

– Рад бы подражать вам во всем, Федул Меркулович, – тихо отвечал Алексей.

– Что ж мешает?

– Вы знаете, что я сирота, имею пристанище по милости добрых людей: так кто же бы стал держать, меня, если бы я приходил домой в нетрезвом виде?

Запекалкин хотя едва держался на ногах, но чувствительно обиделся этим ответом.

– Ах ты, щенок! – вскричал он. Ты уж меня и в пьяницы записал! Да разве ты видел меня когда-нибудь в нетрезвом виде?

– Не гневайтесь, Федул Меркулович, – отвечал испугавшийся Алекеей. – Я сказал не на ваш счет.

– Не на мой? Так на чей же? Вертеться начал! Нет, любезный, не на того наскочил! Я научу тебя разом, как сводить счеты со старшими.

С сим словом Запекалкин бросился на бедного Алексея, схватил его за волосы и начал таскать по полу, произнося разного рода ругательства, достойные закоснелого приказного. Но вдруг в самом пылу битвы язык его онемел внезапно, потому что самого его поразил невидимый кулак по шее с такою силой, что он невольно выпустил из рук несчастного Алексея. Запекалкин, едва опомнясь от изумления, увидел, что над ним носится грозная, десница секретаря Доброкваскина. Вся фигура его изменилась с непостижимой быстротою: нос его из багрового, сделался совершенно синим, щеки покрылись смертельной бледностью, подколенки задрожали, а руки по инстинкту поднялись на спину, дабы сколько-нибудь защитить ее от могучих ударов, которые сыпались на нее, как град.

– Ах ты, индейский петух! – кричал Доброкваскин – Да ты еще смеешь давать рукам волю! Разве всем должно день и ночь проводить в кабаке и таскать туда казенную бумагу, как делаете, вы, пьяницы? Отучу же я вас, окаянных, от этой дороги, заморю в колодке на хлебе да на воде!..

Много еще наговорил Доброкваскин в наставление Запекалкина, и каждый период его речи оканчивался самого явственною точкою на спине сего последнего. Наконец, устав от наставления, Доброкваскин призвал сторожей.

– Наденьте хорошую колодку на шею этому индейскому петуху да смотрите, чтобы в течение недели он не вспорхнул с седала: тогда вы все будете отвечать за него.

– Не вспорхнет у нас, ваше благородие. Не положим на свою руку охулки. И не таких молодцев скручивали мы, как, бывало, ходили под шведа с батюшкою государем Петром Алексеевичем...

– Хорошо, служба, хорошо. Теперь мне не время говорить о твоих доходах? Помни же, что я приказал.

– Помню, ваше благородие! Вы изволили приказывать надеть добрую колодку на шею его милости и не выпускать отсюда целую неделю?

– Да, да!

– Будет исполнено!

Вскоре отвратительный наряд украсил шею Запекалкина, и хотя он ни слова более не сказал Алексею, но по волчьему огню, сверкавшему у него в глазах, можно было догадываться, что он твердо положил в уме своем погубить бедного юношу.

**ГЛАВА II**

Минул год после описанных нами происшествий. Алексей за свое неутомимое прилежание к должности был пожалован в канцеляристы, определен повытчиком и начал получать хорошее жалованье, именно: по сто рублей в год. В сие время исполнилось, ему двадцать лет. Жажда познаний, всегдашняя спутница дарования, пожигала его душу, сильную и чувствительную. Не довольствуясь первоначальным учением, он с жадностью прочитывал каждую попадавшуюся в руки его книгу, и, сколь в тогдашнее время они ни были редки, он умел, однако ж доставать их и приобрел сам собою многие познания, которых были чужды его сверстники. Сверх красоты душевной он имел прекрасную наружность: большие, голубые глаза, лицо как кровь с молоком, русые волосы, вившиеся кудрями, высокий рост и стройный стан. Он любил одеваться сколь можно опрятнее. Кафтан из сукна цветом перца; пересыпанного солью, вервиретовые малиновые с черными пятнышками камзол и нижнее платье, чулки шелковые белые и башмаки с большими посеребренными пряжками – таков был праздничный наряд Алексея! Когда, бывало, приходил он в церковь, то смиренные девушки забывали молитвы и, поглядывая на него исподтишка, часто наступали на платье своих нянюшек, которые, поднимаясь от земных поклонов, невольно брали другое направление, к соблазну православных, стремительно садились на помост церковный.

Уже многие засылали и свах к воспитательнице Алексея. Одна из них по имени, Лукерья Саввишна Закалданиха, славилась ремеслом своим по всему городу. Посему хозяйка, догадываясь о причине ее посещения, желала угостить дорогую гостью со всем иркутским гостеприимством тогдашнего времени Она разостлала на столе скатерть и поставила тарки, то есть четвероугольные пирожки с ягодами, сахарники, или бисквиты, и кедровые орехи, нарезала шанег, то есть булок, намазанных сверку сметаною, и потом, вытащив из печи горшок карымского чаю, сливала его несколько времени ковшиком и забелила молоком, примешав соли и затурану, то есть муки, изжаренной на масле.

– Пожалуйста, Лукерья Саввишна, выкушайте еще чашечку.

– Благодарю покорно, Домна Сидоровна. Ведь десятую, матушка, оканчивают пора и честь, знать!

– Ах, матка-свет! Ты уж и счет ведешь! Кушай во здравие, родимая! Душа – мера!

Во время сего угощения разговор двух старух переходил, как обыкновенно водится, от материи к материи, и, наконец, неприметно склонился к женитьбе Алексеевой.

– Пора тебе, Домна Сидоровна, обженить своего-то сокола ясного; ведь время, матушка, течет как вода, и дважды молодым быть нельзя.

– Да что доспеешь, Лукерья Саввишна! Пытала заговаривать, да один ответ: «Рано, любезная матушка! Придет пора-время, сам просить буду твоего благословения, а теперь не скучай этим».

– Ништо, Домна Сидоровна, попробуй еще; попытка не шутка...

– Вестимо, Лукерья Саввишна!.. Да вот и сам Алексей, легок на помине.

Алексей вошел в комнату, почтительно поцеловал свою воспитательницу, но слегка только, поклонился Лукерье Саввишне, зная, что сия старуха, под фирмою свахи переходя из дома в дом, переносила вести, ссорила одни семейства с другими и сколько сладила свадеб, столько же, или еще более, расстроила счастливых браков.

– Что так спесив стал, Алексей Федорович? Уж нам, старухам, и кивнуть головой не хочешь! – с неудовольствием сказала всеобщая сваха.

– Виноват! Я не узнал тебя, Саввишна, да и теперь едва признаю: так ты постарела от беспрестанных хлопот.

– Хлопоты-то ништо, кормилец! Оне не стареют меня, да то беда, что часто принесешь самый любый холст, ан, говорят, толст.

– По-моему, так в чужие дела и путаться вовсе некстати: всякий рубит дерево по себе.

– Разумная речь, Алексей, Федорович! Да иное дерево-то с вида-то твое бы и было, а как порассмотришь порядком...

Мудрено, Саввишна другому судить о внутренних свойствах человека; и я скажу тебе наотрез, что в сем случае не поверю ни одной сватунье на свете.

– Вольному воля, Алексей Федорович, ходячему путь. Ты, вишь, сам хитер, сам все высмотрел, а другие так прибегают ко мне, сироте, и, не хвастаючи сказать, мне уж многих удалось сделать счастливыми.

– Знаю, знаю, Саввишна! Например, дочь купца Белкина, которая по твоей милости выдана была силой за мещанского сынка Тупицына и вскоре после свадьбы бросилась в воду, или дочь подьячего Сеновозова, которой родителей ты уговорила выдать ее также силою за купца Гречухина и которая от горя и слез слегла в чахотку и благодарит тебя за усердие в сырой могиле. Эй, Саввишна, ведь мы под богом ходим: придет время, так за каждое праздное слово дадим ответ, тем более за погибель ближнего. Советовал бы я тебе...

– Побереги для себя эти советы-то! Да что впрямь, батька-свет, дуру, что ли, меня нашел предики-то читать? Ведь ты не отец Григорий. Старше себя учить вздумал! Молоденек еще! Не плюй в колодец: пригодится воды пить! Придет пора – взмолишься, да убей меня черная немочь, если нога моя будет в вашем доме!

– Плакать не буду, Саввишна! И не обманывай себя, чтобы я когда-нибудь почувствовал в тебе нужду.

– Не узнал еще, что будет вперед: назовешь и ступу бабушкой! А теперь, добро, оставайся со своею гордостью.

Озлобленная старуха с яростью схватила свою накидку и, хлопнув дверью, пошла, по улице, ворча что-то сквозь зубы, разумеется, не похвальное слово Алексею.

Вскоре весь город благодаря неусыпной злобе Саввишны наполнился самой черной клеветою насчет Алексея, и злая молва, переходя из дома в дом, возрастала более и более. Наконец, все благоразумные матушки и тетушки крепко-накрепко заказали своим дочкам и племяненкам не глядеть на Алексея, как на самого опасного зверя. Дочки и племянницы выслушали приказание со всем подобострастием, дали каждая честное слово никогда не глядеть на него, и потом каждая нетерпеливо ждала случая, где бы его увидеть.

Алексей пренебрегал клеветою и радовался тому, что воспитательница его перестала скучать ему своими напоминаниями о женитьбе. Опять в хижине, их все пошло по-прежнему: по-прежнему он ходил в должности, по-прежнему добрая старушка занималась хозяйством; в одном только сердце Алексея было не по-прежнему. Сильная скорбь съедала его приметным образом. Он сделался молчалив и задумчив. Добрая воспитательница его скоро заметила, что Алексей чахнет время от времени, всячески старалась дознаться о причине его болезни, но он ни с кем не хотел делиться своею тайною. Он любил, любил пламенно, но без надежды. В воображении его рисовались лета юности, когда, бывало, с беспечной радостью сердца он играл с Натальей, или на бархатных берегах Ушаковки, или в цветущей долине, орошаемой тихими струями Каи, когда, бывало, бежавши взапуски за бабочкой, Наталья кидалась ему на шею и говорила: «Ах, постой, Алешенька! Я не могу более бежать, я устала смертельно». «Теперь нет для меня, – думал Алексей, – нет Натальи: она убегает от меня, она презирает бедного сироту».

Многое еще думал Алексей, и. слезы катились у него градом. Но он не знал Натальи. Она любила его более своей жизни, она мечтала о нем каждую минуту, чувствовала, что ни с кем, кроме его, не может быть счастливою, и только с некоторого времени, какой-то особенный стыд, какая-то непостижимая застенчивость не допускала ее говорить с Алексеем и даже смотреть на него. Каждый раз, когда заставал ее Алексей у няни, она поспешно вставала, делала ему легкий поклон и тотчас уходила домой, чтобы оплакивать свою видимую холодность» Таким образом, два существа, страстно любившие друг друга, были потому только несчастливы, что не имели смелости объясниться.

Алексей, возвратись в одно утро домой ранее обыкновенного, сказал своей воспитательнице:

– Матушка! Я чувствую, что я очень болен.

– Ах, мать пресвятая богородица! Да что это тебе доспелось, дитятко? Уж не уроки ли какие?

– Нет, матушка, болезнь моя мне известна, ее никто не вылечит, кроме бога.

– Вестимо, дитятко, что, кроме бога, никто не вылечит, да все-таки не сбегать ли к старухе Пахомовне, ну знаешь, к той, что опомнясь, лечила от уроков сына купца Караулова?

– И вылечила в могилу! Нет, матушка, предоставь все единому богу. Без его воли и волос на голове нашей не погибнет.

– Быть так, Алешенька! Будь воля господня! Да выпей же, по крайности, богоявленской водицы, искушай кусочек артуса, авось, матерь божия взмилуется над нами, грешными.

Тут старушка стала на колени пред образом божией матери и начала молиться со слезами,

Алексей, смотря на нее, не мог и сам удержаться от слез.

– Ах матушка! – говорил он. – Чем я заслужил у вас такую привязанность?

– Что ты баешь, дитятко? Заслужил! Да ведь ты, сокол ясный, один у меня, как порох в глазу! Для тебя и живу на свете, тебя не будет, так мне и свет божий не мил сделается – хоть живую зарой в могилу.

Алексей еще что-то хотел говорить, но уже не мог. Страшный жар пожирал всю его внутренность. Он упал на постель почти без чувств.

Весть о болезни Алексея как громом поразила Наталью, в уме ее живо изобразилось сие безотрадное состояние, в которое повергла бы ее смерть Алексея, милого друга юности. «Нет, – говорила она, рыдая, – я не переживу его. С ним только одним я могу быть счастливой, только с одним с ним...»

– О чем так грустишь, Наташа? – спросил отец ее, неожиданно вошедший к ней в комнату.

– Горюю о няне, батюшка!

– Разве у нее какая беда случилась?

– Да, батюшка!

– Ну так вместо того, чтобы понапрасну горевать, ты бы лучше постаралась помочь ей. Мало пользы ей, хотя бы ты целую неделю проплакала.

– Вы знаете, батюшка, что у нее только и надежда на Алексея.

– Ну!

– А он теперь болен, при смерти.

Слова сии Наталья едва могла выговорить, стараясь скрыть сильное внутреннее движение.

– Мне кажется, – продолжал отец, – ты что-то слишком боишься за Алексея.

Краска выступила на лице Натальи. Она хотела отвечать, но не могла ничего сказать – слова замирали на языке.

– Эх, ребенок, ребенок! Ты думаешь, что я ничего не вижу и не знаю? Плохой же бы я был отец, если бы не обращал внимания на свою дочь! Тебе Алексей нравится? Ну, так ли?

Наталья не знала, что отвечать. Чувство стыда, свойственного всем девушкам, и боязнь огорчить отца неоткровенностью боролись в ее душе. Наконец она решилась признаться.

– Простите меня, батюшка! Я весьма виновата пред вами.

– Вина невелика, Наташа, что тебе нравится Алексей. Я сам люблю его. Он малой добрый и неглупый, бедненек, правда, да, я видал в моей жизни много раз, как текли слезы через золото. Одно худо, Наташа, что ты мне ничего не сказываешь.

– Ах, ради бога, простите меня, батюшка! Вперед я, право, не утаю от вас ни одного слова.

– И на что таиться тебе? Если я и пожурю тебя, ведь тебе же пригодится, Наташа. Не все жить со мною: мое время прошло, того и смотри, что нежданная гостья, пожалует.

Слушая сие, Наталья заливалась слезами.

– Ах, не говорите этого, батюшка! Мне страшно и подумать расстаться с вами.

– Что делать, друг мой? Есть на все череда – пора, жить и пора умереть. Я думаю, едва ли не само провидение открывает мне, что и моя пора наступила.

– Почему вы так думаете, батюшка?

– На днях я видел сон.

– Ах, батюшка! Ведь вы прежде сами учили меня не верить снам.

– Бывают сны, в которых провидение открывает человеку близкий конец его жизни, может быть, для того, чтобы он мог приготовиться к нему. Таков, мне кажется, и тот сон, который я видел. Мне представилось, что мы трое, ты, Алексей и я, гуляем по берегам Каи. Воздух был самый чистый и приятный. Не было ни малейшего ветерка, так что поверхность Иркута светилась как зеркало, на котором лежал огненный столп закатывавшегося солнца. Я не могу пересказать тебе, какое чувствовал я наслаждение. Но вдруг на северо-западе показалась черная туча и мгновенно покрыла все небо. Ужасные раскаты грома раздавались по горам. Молния раздробляла деревья. Наконец с непостижимою быстротою ударил вихрь, схватил тебя и Алексея и унес вас из глаз моих. Тогда страшный гром разразился над самою моею головою; потряслась и раскрылась земля, и из пропасти вылетело чудовище, бросившееся на меня с яростью. Я пробудился от ужаса.

Наталья, слушая рассказ отца, дрожала от страха.

– Пути вышнего неисповедимы, – продолжал он, – но совесть моя чиста: куда бы ни повела меня судьба, я везде пойду с покорностью воле божией. Все дороги не уведут меня далее гроба, а умирать ведь когда-нибудь да надобно. Печалит меня одно, что ты, Наташа, еще не пристроена, но предоставим все единому богу. Он знает, что творит.

– Я буду молиться ему день и ночь, батюшка, чтобы он сохранил вас под своим покровом.

– Молись, Наташа, за богом молитва не пропадает. Сказано, что молитва и милостыня суть два крыла, на которых человек возлетает к небу, и что бедные суть ходатаи наши пред богом.

Говоря сие, Жолобов вынул из кармана несколько рублевиков и, отдавая их дочери, примолвил:

– На! Вот возьми эти деньги и отнеси их скорее к своей няне. Они будут ей полезнее пустых сожалений. Да не забудь также взять эту траву. Вели ею напоить Алексея. Она, верно, ему поможет.

Наталья с душевным умилением поцеловала у отца руку и поспешно готовилась идти, как вдруг он, сидевший между тем в глубоком раздумье, спросил ее:

– Послушай, Наташа, ты любишь Алексея, да любит ли он тебя?

– Я этого не знаю, батюшка, я давно ни слова не говорила с ним и даже боюсь глядеть на него, сама не знаю, чего стыжусь.

– Этот стыд, милая дочь моя, послан тебе ангелом-хранителем. Старайся всегда сохранять его в своем сердце, потому что ты достигла теперь тех лет, когда в поведении своем надобно наблюдать крайнюю осторожность. Помни, что злые языки всегда готовы злословить ближнего, да и сам Алексей, конечно, потерял бы к тебе уважение, когда бы приметил нескромность со стороны твоей. Стыдливость и скромность суть лучшие украшения девушки.

– Ах! Эти слова, – говорила Наталья сквозь слезы, – напомнили мне мою родимую матушку. Она, также часто мне говаривала: «Эй, Наташенька! Старайся быть скромненькою – это всего дороже для девушки».

– Так, Наташа, твоя мать говорила правду. Она сама была примером скромности и благочестия. Двадцать лет, которые я прожил с нею прошли как приятный сон. Мы оба с тобою потеряли в ней много, но потерянного не воротишь!

Жолобов приметным образом был тронут воспоминаниями и погрузился в задумчивость. Но потом, как бы пробудившись от усыпления, он сам начал торопить Наталью.

– Ступай же, Наташенька! Мы заговорились с тобою, а добрые дела надобно спешить делать.

Наталья еще раз поцеловала у отца руку и почти побежала туда, куда сердце давно уже ее призывало.

**ГЛАВА III**

Непосвященные в таинства отечественной географии часто спрашивают: неужели в Сибири бывает также теплое лето? Бывает, и теплое время начинается гораздо ранее, нежели в здешней столице, где ладожский лед и северные ветры нагоняют стужу и тоску среди мая месяца.

В Иркутске, например, начинает таять снег и навевать весною с февраля месяца, к концу марта становится сухо, на улицах, и бывают столь теплые дни, что тамошние щеголи гуляют без шинелей, в мае природа облекается брачною одеждою: все начинает цвести и благоухать. Тогда иркутские жители, богатые и бедные, тянутся вереницами на цветущие берега Ушаковки, быстро катящей, по камешнику чистые и целебные струи свои. Там, под тенью кущей, как бы свободные сыны веков патриархальных, рассевшись семействами, они наслаждаются удовольствиями, каждый по своему разумению. Главное же наслаждение иркутского жителя составляет чай. Без него сама Ушаковка показалась бы скучною, зато и чай от ушаковской воды делается несравненно вкуснее и приятнее. Сколько но сей причине, но более по близости к городу, Ушаковка пользуется честью всегдашнего гулянья, но есть и другие места в окрестностях Иркутска не менее приятные. Такова, например, живописная долина, по которой протекает скромная Кая. Сама Ангара, огромная и холодная, со своими гигантскими горами, по берегам ее идущими, соединяет в себе идеи красоты и величия, но величия пустынного, первообразного. Кто из жителей Иркутска, старый и малый, не обедывал или не пивал чаю при подошве горы Верхоленской? Кто не гулял, в древних рощах архиерейской мызы, где иркутские архипастыри, оставляя суету города, наслаждаются в благочестивом уединении красотою творения божия? Кто не знает прекрасного местоположения деревушек: Царь-Девицы, Кузьмихи, Разводной и пр.?

В один из тех прелестных дней, которыми так щедро наделяет природа иркутских жителей, в мае месяце на зеленом берегу Ушаковки, под навесом развесистой ивы, курился огонек, над которым был повешен медный чайник. Близ него молодая девушка лет шестнадцати вынимала из коробка чайный фарфоровый прибор и расставляла на траве чашки. Она была собою прекрасна как весенний день. В ясных ее карих глазах отражалась невинность и чистота ее души. Живой, игривый румянец покрывал ее щеки. На ней была пунцовая гродетуровая телогрейка и кисейная юбка, а головной убор состоял на голубой атласной ленты, какою была также украшена и ее русая коса. Расставляя чашки и подкладывая под чайник сухие ветви, она поглядывала с некоторым смущением на ходивших недалеко от нее старика с молодым человеком. Разговор их, по-видимому, касался чего-то близкого в отношении к последнему, ибо на его глазах вдруг выступили слезы. Он крепко обнял старика и, подходя с ним вместе к девушке, бросил на нее один из тех взглядов, в котором сердце провидит на земле небо.

Сей юноша, как читатель, без сомнения, уже догадался, был Алексей. Из того особенного внимания какое оказывала к нему Наталья во время его болезни, он уверился в любви ее к нему и решился объясниться с ее отцом.

– Что с тобою сделалось, Наташа? – сказал улыбаясь сей последний. – Ты льешь мимо чашки.

– Ах, извините, батюшка!

– Да пособи, брат Алексей, своей-то будущей... Ну вот тебе и чай! Да еще барышом и чашка разбита.

– Это к добру, батюшка Андрей Иванович, – сказала сидевшая подле Натальи старушка, воспитательница Алексея.

– Как бы не так! К добру! Будет добро! – вскричал неизвестный голос из-за кустов.

– Господи помилуй! говорила няня, перекрестясь. – Что там за окаянный забился? Типун бы ему на язык!

– Не прикуси свой! – подхватила дурочка Аксинья, пробираясь сквозь дерев к берегу.

– Ребята! – закричали купавшиеся недалеко мальчишки. – Дурочка Аксинья идет. Ну-ка примем ее хорошенько в брызги!

– Перестаньте вы, чертовы внучки! – кричала Аксинья, схватив, камень. – Не то я вас разом отправлю к вашему дедушке!

Полно с ними браниться-то, Аксинья! – сказал подошедший к ней Жолобов. – Пойдем-ка, лучше выпей у меня чашку чаю!

– Ладно, ладно, Жолобов! Ты мужик добрый, пойдем, помянем тебя!

– Я слава богу, еще жив.

– Мы все живы и все мертвы! Слышишь, поют?

– Это поют песни, вон там на лужайке, где огонек-то курится!

– А ты думаешь, я, не сумею так же спеть песню?

Тут сумасшедшая запела сама песню и начала плясать.

Не кручинься, не печалься,

Удалая голова!

Все на этом белом свете

Пустяки и трын-трава!

Жизни горькой, жизни сладкой

Дни, недели и года

Протекают, пробегают,

Как проточная вода.

Счастье, радость, грусть, невзгода

Быстрым вихрем пролетят...

– Хорошо, хорошо, Аксинья! – сказал Жолобов. – Я вижу, что ты петь мастерица, только чашку-то свою простудила. Наташа, налей погорячее.

– Спасибо тебе, Жолобов! – отвечала Аксинья. – Ты не забываешь бедных, так и тебя не забудет тот, ну, знаешь, который живёт высоко-высоко, вон там, где синеется-то. Смотри-ка, видишь ли что? А я вижу: он смотрит на тебя так умильно!

– Она бредит, – говорила Наталья.

– Кто бредит? Я? Нет, я вижу его наяву. Я часто разговариваю с ним, когда сижу вон на этой лощинке, видишь, что на Клубничной-то горе, подле сосны, которая всех выше.

– Про кого это говорит она? – сказала няня. – С нами крестная сила!

– Про кого? Ты не знаешь его, а я его знаю. С тех пор, как люди стали дразнить меня сумасшедшею, а ребятишки бросать каменьями, я стала бегать из города к нему на гору. Он один не дразнит меня.

– А давно, ли, – спросила Наталья, – люди начали обижать тебя?

– Не спрашивай ее, – шепнул Жолобов своей дочери, – Это может напомнить ей разные огорчения, которые она терпела в своей жизни, а вспомнивши их, она выходит из себя.

– Наталья! – сказала сумасшедшая. – Ты девка добрая. Я еще помню, как прошлой зимой ты отогрела и накормила меня, когда эта проклятая Малашка Груздева погнала меня втолчки из своего дома. Я тебя люблю, да помочь нечем, а горя тебе будет много-много!

– Ну полно пугать-то нас, Аксиньюшка! – сказал Жолобов. – Лучше выпей-ка вот эту рюмочку. Смотри-ка, винцо-то как янтарь... Да что ты задумалась? Разве не ты не пьешь вина!

– Вина? Кто требует от меня вина? – вскричала сумасшедшая с некотором бешенством, вскочив на ноги.

– Я! Не требую, а только прошу.

– А, ты опять пришел меня мучить! Ведь я и так отдала последнее, теперь у меня ничего нет, кроме вот этого кольца обручального. Ужели и его ты хочешь пропить? А дети наши – чем они питаться будут? Посмотри на них, злодей! Они другой день не видали росинки хлеба, сидят не обуты, не одеты. Слышишь: хлеба, мама, хлеба! Боже мой! Где я возьму его?.. Что ты смотришь на меня так зверски? Я говорю правду. Не грози мне своим ножом: я умереть давно готова. Режь меня, я не боюсь смерти, жалею только бедных детей моих. Горе, мне, горе!

Произнеся сие, сумасшедшая упала без чувств, Наталья и няня бросились помогать ей. Опомнившись, она спросила:

– Где я? Ах! Мне показалось, что будто опять пришел покойный муж мой и требует от меня детей.

– Успокойся, – говорила. Наталья. – Здесь нет никого, кроме нас.

– Видно, ты,– спросила няня,– много терпела с ним горя?

– Много, бабушка, очень много! Батюшка отдал меня замуж четырнадцати лет, позарившись на богатство. Муж мой был сыном богатого купца Селезнева. Отец его мало смотрел за ним, и потому на осьмнадцатом году он был уже самой невоздержанной жизни! Мать его все знала и не хотела открывать. Почти каждую ночь он запрягал своего Сивку, ездил на нем где бог весть и, возвращаясь домой уже к утру пьяный поднимал со мною драку. Много раз бросался на меня с ножом. Так. протекло самых горьких девятнадцать лет. В это время мать его, которая была единственным моим утешителем, скончалась а своему отцу я не хотела говорить, дабы не огорчить его. Свекор мой женился на другой, женщине злой и хитрой. У нее родились дети, и потому она всячески старалась вооружить отца против моего мужа, чтобы его и детей моих отдалить от наследства. Она успела в этом! Свекор перестал давать нам на содержание, мы прожили все, что имели, я и дети были наги и босы, часто голодны, но муж мой все-таки не переставал пить. В один день – о! Это самый ужасный день в моей жизни! – мне сказали, что мой муж найден убитым. Несмотря на его поведение, я все любила его. Услышав страшную весть о его смерти, я бросилась опрометью из дома, бежала с растрепанными волосами по улице, увидела его окровавленное тело, бросилась на него и более не знаю, что со мною было. Сильная, горячка обхватила меня. Я долго-долго была больна, наконец оправилась, но голова моя была уже расстроена: я всего боялась, всему верила, словом, стала безрассудна, как ребенок. Мачеха воспользовалась моею слабостью. Она уговорила меня выйти замуж за одного проезжего офицера, обольстила меня надеждою на хорошее приданое и постаралась сбыть меня с рук, когда отца моего не было в городе. Новый муж увез меня далеко от родины, кругом обобрал меня и все промотал. Я осталась нищею сиротою на чужой стороне. Что мне было делать? Я решилась идти назад пешком. Пять тысяч верст я шла, терпя голод и холод, и презрение от людей. Теперь живу я у сына, но и сын мой – думала ли я это, когда лелеяла его у своей груди? – сын мой меня бьет! Все люди, куда ни пойду я, дразнят меня сумасшедшею!..

В сие время ударил колокол но всенощной, а луч закатывавшегося солнца осветил вершину той сосны, на которую показывала сумасшедшая.

– Чу! – сказала она. – Слышите? Видите? Чей это голос? Это он зовет меня! Иду, иду!

С сим словом сумасшедшая бросилась к берегу и побрела чрез реку, не обращая ни малейшего внимания на ребят, которые брызгали на нее со всех сторон.

Жолобов и все с ним рывшие с некоторым изумлением смотрели за нею вслед. Но когда она, перейдя через реку, скрылась за ближний березник, то произведенное ею неприятное впечатление мало-помалу нагладилось.

– Что все вы так нахмурились? – сказал Жолобов. – Вон добрые-то люди, посмотрите, так и заливаются.

– Не запеть ли и нам? – смеясь, спросил Алексей.

– А что же? Начинай-ка, брат! Ну, за мною!

Плавал, плавал селезенько

По быстрой по речке.

Поймала селезеньку...

Эх, брат, не в тон поешь. Пособляй-ка нам, Наташа!.. Ну! И она сбилась! Да что вы в самом деле?

Алексей и Наталья, смеясь, старались подлаживаться под голос отца и таким образом провели несколько приятных часов, доколе последний луч солнца не догорел на западе и не напомнил им, что пора собираться домой.

**ГЛАВА IV**

Заря еще не занималась на востоке, и на Спасской колокольне пробило только три часа, когда какой-то пешеход прокрадывался тихомолком к дому купца Груздева. Он легонько постучал кольцом, висевшим у ворот, и, переговорив несколько слов с караульным, наскоро ускочил в ворота.

Сколь ни рано пришел сей незнакомец, но яркий свет в горнице хозяина показывал, что он уже встал. На одной стене сей горницы висело множество образов, и у каждого было по зажженной свече. На правой руке от образов, подле окон, стоял большой стол, заваленный бумагами, с которыми вместе лежали старые просвиры: объедки давнишней закуски и т. п. На стульях и под стульями – словом, везде, где только было можно, ли разбросаны различные товары в таком отношении между собою, что ни один в свете метафизик не подвёл бы их под одну черту вида или рода. Например, подле раскупоренных цибиков чая было брошено заржавленное железо, тут же были навалены разные шелковые материи, подле них стояли бочонки с протухлыми сельдями и так далее. На потолке и стенах, равным образом на письменном столе и стульях, покоились толстые слои пыли, а пол не был мыт с того времени, как Груздев поселился в сей горнице: ибо он думал, как и ныне еще некоторые сибирские богачи полагают, что чем более увеличивается неопрятность, тем более копится богатство. Систематический беспорядок хозяйской горницы отражался во всем доме. Большая часть его была недостроена, на дворе повсюду видны были разрушающиеся амбары, упадшие заборы, груды согнивающих бревен. Словом, беспорядок был так велик, что всякий приходивший в первый раз в дом Груздева невольно вспоминал старинную пословицу: здесь как будто Мамай воевал.

Не меньше было неустройства и в семейном быту Груздева. С женою он видался только раз в неделю и, быв величайшим скрягою, не доверял ей ни в чем и даже сам выдавал съестные припасы. Жена со своей стороны платила ему не менее благородными поступками. Она подобрала ключи к разным кладовым мужа и посещала их от времени до времени. Таким образом, по общему отзыву в городе, Груздев жил со своею женою как кошка с собакою. Не трудно угадать, какое воспитание получали дети при таких отношениях отца и матери. Особенно отличался из них старший сын, Григорий. Не наставленный с детства ни в правилах религии, ни нравственности, он в двадцать лет сделался развратником в полном смысле сего слова. Никакая обязанность для него не была священна, и он так же бросал клятвами, как разбрасывал деньги. Развратные дома стали местом почти всегдашнего его пребывания, и по причине частых ссор, драк, в которых он почти всегда участвовал, он потерял всякое уважение людей честных. Вообще, в городе, не называли его иначе, как Гришка Груздев.

Дабы исправить сего развратника, Груздев решился прибегнуть к обыкновенному средству отцов слепых и преступных, то есть задумал его женить и, не обратив ни малейшего внимания на его расположение, сам избрал для него Наталью, потому что надеялся получить за нею хорошее приданое. Из сказанного выше легко угадать, какой успех имело сие предприятие.

Тревожимый мыслью о неудачном сватовстве, Груздев стоял в большом рассеянии пред освещенною божницею. Молитва его беспрестанно прерывалась ругательными выражениями. «Шельма! – ворчал он. – Косматая борода!.. Прости, господи! Согрешил, окаянный!.. Да какого же беса ему надобно? Разве лучше этот приказный с точеными ногами?.. Слава отцу и сыну!..»

Тут Груздев начал класть земные поклоны и читать про себя так, что можно было расслышать только последние слова «и во веки веков...»

– Аминь! – провозгласил охриплый голос в передней комнате.

– Кто там? – сердито спросил Груздев.

– Это я-с, Фома Яковлевич, – отвечал Запекалкин.

– А я только о тебе думал, Федул Меркулович.

– Я давно-с дежурю в вашей передней, да боялся помешать вашей благочестивой молитве.

Слова сии Запекалкин произнес с такой злобною усмешкою, что Груздев, несмотря на старинную честную связь свою с ним, едва не повторил некоторых слов, произнесенных им во время молитвы, однако ж всегдашняя надобность в услугах сего бездельника смягчила его выражения.

– Виноват, Федул Меркулович, замешкался.

– Ничего-с! – отвечал Запекалкин со всей наглостью приказного. – Я сидел не без дела! высчитывал святцы по пальцам, и, по-моему, должно быть скоро у нас разрешение вина и елея.

– И не ошибся, Федул Меркулович, – подхватил Груздев, вытаскивая из-под стола штоф с настойкою.

Запекалкин протянул с явным удовольствием руку к налитой рюмке, но между тем оговаривался и принимал на себя вид, будто бы делает сие неохотно.

– Раненько, Фома Яковлевич. Ведь мы, люди должостные, надо себя поберечь, чтобы и к труду годиться.

– И труд, Федул Меркулович, покажется легче, как на сердце-то будет повеселее.

– Сущая истина, Фома Яковлевич. Сказано бо: «вино веселит сердце человека».

– Я чаю, и ты повеселишь меня сегодня, Федул Меркулович?

Запекалкин робко огляделся вокруг себя и потом, вытащив из-под сюртука порядочную кипу бумаг, с некоторым торжеством подал их Груздеву.

– Вот вам гостинцы, Фома Яковлевич! Теперь у гуська ощипаны крылышки, далеко не залетит.

– Исполать тебе, Федул Меркулович! Признаться, хотя мы и давно знакомы с тобой, но я не ожидал, чтобы можно было так скоро. Расскажи, ради бога, как ты это спроворил?

– А так-с-то! Старого воробья, как говорится, на мякине не проведешь. Посидел подольше да подобрал ключишко – так и дело в шляпе.

– Справедливо сказано, – продолжал Груздев, пересматривая отданные ему бумаги, – что дело мастера боится. Господи боже мой! Да ты целое дело подтибрил! Ха-ха-ха! Пять сенатских, да четыре коллежских!

– Да уж, по-моему, коли куролесить, так было бы за что отвечать.

– Отвечать! – возразил Груздев. – Надобно так делать, чтобы концы в воду. Впрочем, все равно, если мы их и в огонь спрячем.

При сих словах Груздев все полученные им бумаги бросил в топившуюся печку.

– Вечная память! – воскликнул Запекалкин протяжным голосом, похожим на пение, – Вечная память!

– Всем сердцем хотелось бы мне,– говорил Груздев, – поскорее послушать, как запоет наш женишок любезный, когда наденут на него траурный галстух.

– Сиречь колодку. Мне бы еще более вашего хотелось полюбоваться, потому что я сам по его милости щеголял в этом проклятом наряде целую неделю, да вот видите: на хотение есть терпение.

– Правда, правда, Федул Меркулович! Стерпятся – слюбится!

– Впрочем, терпеть-то нам недолго, и праздник на нашей улице наступит скоро, да было бы чем праздновать, а теперь, ей-богу! пустым-пусто...

Говоря сие, Запекалкин подставил карман, а Груздев, денно знакомый с тактикою взяточников, немедленно всыпал в него целую пригоршню серебряные денег. После чего Запекалкин, не изъявив ни малейшего знака ни удивления, ни благодарности, как бы совсем не приметил щедрости Груздева, спокойно принялся за свою шляпу.

– А на дорожку-то посошок, Федул Меркулович! Ведь уж без троицы дом не строится!

– Много будет, Фома Яковлевич» Да развел – так уж и быть! За здоровье жениха с невестой. Х.е-хе-хе!

При сей адской шутке достойные приятели чокнулись рюмками и потом дружески распрощались.

По окончании сей ненавистной беседы Груздев услышал благовест к заутрене и поспешно отправился в церковь. С каким чувством душа, за час устроившая погибель ближнего, дерзновенно является пред лицом того, что не преломил трости сокрушенной и не угасил льна дымящегося, сие странное явление нравственного мира могут объяснить только одни закоренелые лицемеры. Но что Груздев слишком далек был от истинного раскаяния, которое одно только могло оправдать присутствие его в храме божием, сие было видно из разговора, какой он имел, по выходе из церкви, с известной уже нам Лукерьей Саввишной, также бывшей из числа набожных людей.

– Здравствуйте, батюшка Фома Яковлевич! Все ли подобру-поздорову?

– Молюсь, Саввишна, пока мышь головы не отъела. Ты что-то забыла меня.

– Как забыть, батюшка? Сказать признательно, я таки прямо к тебе теперь и хотела тащиться. Вчера я была по твоему приказу.

– Ну что, добрые ли вести несла, Саввишна?

– Эх, батюшка! Последние времена наступили: все пошло на вон-тарары! Больно все измудрились. Нам, старухам, и рта раскрыть не дают.

Что делать, Саввишна. Ныне надобен не столько рот волчий, как лисий хвост. Будьте мудри, как змии.

– Уж пытала, батюшка, и змеей-то, прости господи, извиваться, да нет-ста! И товарцы твои не помогли, кормилец! Старика-то, слышь, дома не было, я и обрадовались: авось, дескать, пойдет дело на лад. Разложила добро да и начала заводить речь издалека. «Я слышала-де, матушка, у вас скоро веселым пирком, да и за свадебку». – «Да, бабушка!». – «А смею ли спросить, матушка, кто ваш суженый-то, ряженый?». – «Уж коли, бабушка, про свадьбу знаешь, так верно и о женихе слышала». – «Признательно сказать, родимая, слышать-то слышала, да не верится что-то». – «Отчего же так, бабушка?». – «Сказала бы все тебе, дитятко, слышь, сердце не терпит, как подумаю, как грустно жить за неровнею... Ой-и-иченьки! Ой ти мнеченьки!» – «Что ж так разгоревалась, бабушка? Я не грущу о том, что мой жених не богат и не знатен, для, меня довольно, что он человек добрый». – «Эх, матушка! Вот то-то и есть!.. Да это я разовралась, старая дура,– прости, господи! Пора, пора! Прощай, дитятко! Дай-то, господи, тебе счастья и талану!» Тут я начала сбирать товары и показала вид, что хочу идти. Девка моя не утерпела, привязалась ко мне: «Расскажи, да и только, что знаешь». Я и начала ей нести, слышь, такую турусу на колесах, прости господи, инда и самой страшно стало и мотыга-то он, и гуляка-то он...

– Не слишком ли пересолила, Саввишна?

– Как хочешь принимай, батюшка, а признаться: сердце не утерпело. Ведь я помню еще как, он, собака, почти выгнал меня от себя, как я ходила к нему летось по твоему же приказу говорить о дочке-то твоей, Маланье.

– А знаешь, Саввишна, Кто старое помянет?.. Ну что же Наталья?

– Не очернила, не обелила, кормилец! Слушала, слушала, плюнула и ушла.

Во время сего разговора Груздев подошел к своему дому и, рассерженный неудачным исполнением его поручения, сухо простился с Саввишной.

– Не забудь принести назад мои вещи, да сегодня же.

– Не забуду, отец мой, не забуду, теперь же вернусь, только забегу домой за ними. За тем прощенья просим, Фома. Яковлевич!

– Прощай... старая ведьма! – прибавил про себя Груздев, стуча, воротным кольцом.– И того не сумела сделать, окаянная! А рублевик-то мой проглотила, не подавилась.

Покамест рассерженный Груздев стучит в ворота, мы поспешим рассказать читателю, что происходило у него в доме во время его отсутствия.

**ГЛАВА V**

Добродетельная супруга Груздева, никогда не терявшая напрасно времени, пользуясь его отсутствием, решилась посетить горницу мужа, а любезную дочь свою, Маланью Фоминишну, отправила на аванпост, то есть заставила сидеть на дворе и караулить приход отца. Сей пост не был новостью для Маланьи, потому что любимое ее препровождение времени было во дворе на фундаментном камне, лежавшем подле крыльца. История дворни богатая назидательными примерами, была ей совершенно известна, и потому нравственность сей девушки достигла, наконец, высокой степени совершенства. Случалось, что в неспокойный час гнева Маланья выражалась с такой энергией, что самые удалые ямщики говорили с невольным удивлением.

– Ай да Малашка! Черт, а не девка.

В то время как Маланья, сидя на аванпосте, смотрела с любопытством на недавно пришедший обоз, нежный братец ее приготовил для нее приятный сюрприз. Он схватил бурак, или, по-иркутски, туес с квасом, и, взобравшись на чердак, или, по-тамошнему, на вышку, окатил сестру свою с головы до ног. По несчастью, приказчик, приехавший с обозом, стоявший недалеко от нее, также держал туес с квасом и готовился пить. Еще он не успел оглянуться на внезапный крик Маланьи, как туес вылетел у него из рук и укатился под ближний воз. Не довольствуясь сим, Маланья бросилась на него с обломком оглобли. Но приказчик, не желая вступать с нею в битву, отретировался за возы, и на все ругательства ее ответствовал только насмешками. Разъяренная Маланья решилась идти на приступ и полезла через возы с поднятой вверх оглоблей. Уже предприятие её приходило к концу и бедный приказчик был в крайней опасности, как вдруг послышался звук воротного кольца. Он, подобно залпу многочисленной батареи, мгновенно переменил вид сражения, и торжествующая Маланья должна была сама лечь в траншею, то есть скрыться под возом, оставя мать без условленного сигнала. Вместе с сим, к вящему мучению своему, она услышала страшный хохот на вышке, откуда брат ее, раскрыв слуховое окно, кричал ей:

– Малашка! Ведь это я окрестил тебя.

В сие время Груздев, войдя во двор и приказав позвать к себе обозного приказчика с обозным подрядчиком, пошел в свою горницу, где, как нам уже известно, пребывала его супруга. В сие время она опоражнивала место, то есть цибик чаю, выкладывая его в передник. С ужасом услышала она шум шагов, но, побег был уже невозможен. Оставалось одно средство: скрыться за большим образом, стоявшим в переднем углу, и от которого пелена простиралась до самого пола. Несколько секунд несчастная колебалась между уважением к святыне и чувством близкой опасности, но последнее превозмогло, и Груздев, войдя в горницу, не мог и подумать, чтобы он так близко находился от дражайшей своей половины.

Сохранив еще неприятное впечатление, произведенное неуспешным походом Саввишны, он ужасно рассердился, что приказчик и подрядчик несколько замешкались.

– Как же ты, братец, – говорил он, обратись к приказчику, – приехал да и глаз показать не хочешь хозяину?

– Извините, Фома Яковлевич, вздремнул с дороги. Всю ночь шли, чтобы поскорее поспеть.

– Вишь, какая диковинка – ночь не спал! Бывало, мы и по три не сыпали, да должности своей не забывали. Где Григорий?

– Я здесь, батюшка! – отвечал Григорий, который, услышав шум в горнице отца, припал, по обыкновению, к отверстию дверного замка.

– Ты никогда не помнишь, – продолжал Груздев, – что надобно делать.

Помню, батюшка! – говорил Григорий, выходя поспешно из дверей.

Обязанность Григория состояла в том, чтобы в то время, когда отец разговаривает с приезжими приказчиками, обыскивать их повозки и брать оттуда шкатулки с деньгами. На сей раз сия хитрость Груздева встретила сильную противохитрость. Приказчик, не менее опытный в плутовстве, как и его хозяин, опорожняв свою шкатулку почти начисто, оставил ее на хранение ямщикам.

– Смотрите, ребята, говорил он, – караульте хорошенько, не то головой ответите. Тут одного золота на целых десять тысяч рублей. – Слова сии были пересказаны ямщиками Григорию, но он, несмотря на сие, вырвал у них шкатулку насильно.

– Воля ваша, Григорий Фомич, – говорили они. – Возьмите, когда не слушаете, только мы теперь не ответчики.

Григорий, принеся шкатулку под полой в горницу отца, дал о том знать ему условленным знаком, который, однако ж, не мог утаиться от прозорливости приказчика.

«Добро вы, мошенники! – думал он. – Сами в свои сети попались!»

Между тем Груздев, утомив свою злобу над приказчиком. бессовестно напал на бедного подрядчика.

– Ну, брат Коровин, долгонько я ждал тебя!

– Помилуйте, Фома Яковлевич! Что за долгонько? По контракту мне следовало прийти двадцать пятого, а сегодня только двадцать девятое мая.

– Так что же? По-твоему, четыре дня – безделица, а по-моему, так нет! В торговых делах дорога и минута. Теперь бы кладь была уже в дороге, а доставивши ее на Кяхту четырьмя днями прежде, я бы мог выгоднее променять товар.

– Бог и так благословил вас, Фома Яковлевич! Смотри-ка, добра-то: амбары ломятся!

– Не твое дело зевать по амбарам, ты знай свое! Помни, к чему обязался. Срок дело великое. Чего сделать не можешь, так и не берись за то. Ведь ты знаешь, что в договоре сказано: «а буде в срок не поставляю...»

– Знаю, знаю, батюшка Фома Яковлевич, что в таким случае вы властны не дать мне условной платы и отобрать от меня лошадей и телеги. Да побойтесь бога! Ведь не от неисправности моей просрочка случилась. Дождь, слышь, так ливмя и лил, грязь по колено. И то пять лошаденок в дороге бросил. Вот и господин приказчик то же скажет, коль душой покривить не захочет.

– Я в чужие дела не мешаюсь, – сказал плутоватый приказчик.– Ты вез, ты и отвечай, а меня не путай.

– Да мне и не нужны свидетели, – говорил Груздев, – Контракт гласит ясно. Тут дело чистое. Отбери от него всех лошадей и телеги. Вперед будет исправнее!

– Неужто, Фома Яковлевич, ты и впрямь не побоишься бога, за четыре дни, да отнимешь у меня лошаденок? Ведь у меня только и животишка, что лошаденки! Без них что я буду? По миру надо будет идти с женой и ребятишками.

– Поди, коли хочешь. Много вас шатается бродяг. Не терять же мне для тебя, что мне по правде следует. Сам виноват. Коли взялся за гуж, так будь дюж!

– Ах ты, господи боже мой, – говорил ямщик, утирая слезы. – Напасть, да и только. Да прикажи хоть одну лошаденку отдать, чтоб было на чем домой дотащиться.

– Дойдешь и пешком, не велик барин!

– Помилуй, Фома Яковлевич, как же полторы-то тысячи я потащусь пешком? Будь милостив. Не губи меня, ведь и за меня дашь ответ богу.

– А! Так ты еще стращать начал! Убирайся-ка вон! Мне толковать с тобою некогда. Вон пошел! Чтобы духу твоего не было!

Бедный крестьянин, выйдя из ворот Груздева и перекрестившись на четыре стороны, сказал:

– Ну, собака! Бог тебе судья! Ешь мое добро, сыт не будешь. Придет время, спокаешься, да, может, будет поздно. Доконал ты, злодей, меня дочиста, разлучил с женой и детьми.– Тут крестьянин взвыл голосом.– Прощайте, мои детушки! Прощай, моя голубушка Дмитревна! Осталась ты теперь сиротинкою! Ах, сердце, слышь, так и зальется кровью, как вспомню о ребятишках! Бывало, Васютка привяжется ко мне «Батюшка, посади меня на гнедка!» Теперь тебе ластиться не к кому! Ах, горе, горе! Все сгибло да пропало!

Произнося сии жалобы, крестьянин по инстинкту приближался к тому месту, куда простой русский народ обыкновенно приходит в радости и в печали.

Между тем приказчик, обобравший сего несчастного, поспешно возвратился к хозяину с видом сильного смущения.

– Фома Яковлевич! – сказал он, войдя наскоро в горницу. – Я оставил у ямщиков...

– Знаю, знаю! – отвечал Груздев. – Она у меня.

– Ну, слава богу! Отлегло от сердца, а то, признаться, струхнул было. Уж думал, не ямщики ли выдумали сказку. Тут ваших было золотых десять тысяч да собственных моих пятьсот рублей...

– Как так? – вскричал Груздев. – Да тут всего-навсего я нашел только серебра на семь сот.

– Воля ваша, Фома Яковлевич, я говорю правду. Я сам клал, так мне лучше известно, сколько тут было.

– А мне разве не известно, когда я пересчитывал несколько раз?

– Я этого-с не могу знать, знаю только, что я клад. Вольно же вам было поспешить отбирать от меня тайком, почти, с позволения сказать, воровски.

– Как воровски! Что ты, плут? Да разве я в своем добре не хозяин? Разве не могу отобрать его во всякое время, когда вздумаю?

– Неспорно, Фома Яковлевич, можете, да денежка счет любит. Ничего бы не было, когда бы я сам из своих рук отдал, а то ведь за душу Григория Фомича я не порука, чужая душа – потемки!

– Полно врать, разбойник! Скоро сам будешь сидеть в потемках. Я сейчас поеду к самому губернатору, а тебя связать велю, как вора. Эй вы! Подите сюда.

Груздев начал стучать ногою в пол, и из подклета, то есть из нижнего этажа, на стук его пришло четверо ракитников.

– Свяжите его, мошенника, да крепче, чтобы пошевелить не мог рукою... Вот так! Ладно!

– Делайте со мною, что хотите, ваша воля, Фома Яковлевич, но ведь и мы живем не в бессудной земле.

– Толкуй, что знаешь! – говорил. Груздев, взявшись за шляпу.– Заговоришь и другим голосом! Ну что зеваете, дураки! Ведите его.

Исполняя сие приказание, работники потащили, связанного приказчика, но лишь, только успели отворить двери, как из сеней наскоро вбежала в горницу в ужасном переполохе няня детей Груздева и повалилась ему в ноги.

– Батюшка, Фома Яковлевич, прости и помилуй!

– Это что значит?

– Прости и помилуй, отец мой! Виновата я перед тобою.

– Да говори, в чем? Мне некогда с тобой растабарывать!

– Прости и помилуй, отец мой!

– Да что ты, старая дура! В уме, что ли рехнулась? Сказывай или убирайся к черту!

– Ох, отец ты мой родной! Сказала бы я тебе всю правду-истину, да простишь ли ты меня, грешницу?

– Что за дьявольщина! Прости ее, да и только, а в чем – неизвестно.

– Да вот видишь ли, отец, мой! Я взяла детушек-то, да и пошла по бережку. Петрушенька-то, батюшка, подле меня шел, а Алешенька, слышь, так и рвется к воде. Ну несколько раз я говорила ему: не ходи близко, не ходи, упадешь, я он, слышь...

– Ох! – произнес протяжно неизвестный голос, раздавшийся в переднем углу.

Все вздрогнули. Груздев, исполненный угрызениями совести и потому чрезвычайно суеверный, побледнел от страха, вообразив присутствие невидимого духа. Старуха от ужаса ничего не могла выговорить. Приказчик и работники стояли в изумлении с раскрытыми ртами. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец Груздев, оправясь от первого впечатления, спросил:

– Кто это?

– Не знаю, отец мой, – отвечала няня, – не знаю.

– Ну так и есть! – сказал один из работников, взглянув в окошко. – Это дурочка Аксинья, сидит подле самого угла. Да что она так разохалась?

– И впрямь она, видно, – подхватила няня. – Экая окаянная! Чуть душенька-то не выскочила! Сердце так ходенем и заходило.

– Полно вздор-то молоть, – сказал Груздев. – Досказывай, что начала.

– Виновата, Фома Яковлевич! Окаянная-то меня с ума сбила. Ну вот я и говорю ему...

Но рассказ ее был прерван вошедшим в комнату солдатом губернской канцелярии.

– Фома Яковлевич! – сказал он. – Сейчас вытащили из воды какого-то мальчишку: Говорят, будто твой сын. Лет четырех, черные волосы, в новом китайчатом халате.

– Так и есть! Ах ты, мошенница! Смотри, пожалуй, еще и новый халат напялила!

Едва Груздев успел произнести сии слова, как в горнице раздался «ох!» сильнее прежнего, и жена его, стоявшая, как нам известно, за образом, предавшись чувству материнской любви, кинулась из-за него без всякой осторожности. Образ слетел со стены, ударил в голову Груздева и сшиб его с ног.

– С нами крестная сила! – вскрикнули в один голос солдат, приказчик и работники.

– Что это, братцы, за оказия? – сказал первый, оправившись от испуга. – Словно пуля мелькнула.

– Уж не ведьма ли? – подхватил один из работников.

– Ах ты, простофиля! – говорил другой. – Разве нечистая сила может забиться за образ?

Между тем няня, упав от страха, не смела поднять головы и беспрестанно твердила:

– Матушка Парасковья Пятница! Помилуй нас, Грешных!

Сие происшествие дало совсем другой оборот делу приказчика. Груздев по причине полученного им удара принужден был остаться на несколько дней дома. В сии дни он имел время хорошенько рассмотреть, могла ли жалоба его быть уважена, и, увидев ясно собственную оплошность, отдумал жаловаться на приказчика, а рассудил лучше: без всякого суда обсчитать самого его при удобном случае. Сверх сего, по странному расположению своей души, он любил плутов и всегда говаривал:

– Лучше дело иметь с плутом, нежели с дураком.

Следуя верно сему правилу, он не разорвал своей связи с плутом-приказчиком, но из самой ссоры с ним извлек такую выгоду, какую можно было ожидать только от его хитрого ума и злого сердца. Это увидим впоследствии.

**ГЛАВА VI**

– Ну-ка, Федька!– говорил асессор Скрыпушкин своему кучеру. – Понюхай-ка, не пахнет ли где пирогами,

– Да вот, сударь, недалеко, в доме Жолобова. Смотрите, какой свет во всех окнах. Сегодня у него сговор.

– Знаю. Он звал и меня.

– Так не прикажете ли остановиться?

Скрыпушкин задумался.

– Признаюсь, – говорил он сам себе, – не могу я смотреть равнодушно на людей, которые веселятся, не зная, что через час они должны плакать. Но так и быть! Стой!

В доме Жолобова в сие время был, как творится, пир горой. Дом его разделялся на две половины довольно длинными, холодными сенями, как и все иркутские дома тогдашней постройки. Два жилых покоя, находившиеся по сторонам сеней, назывались передняя и задняя горница. Каждая из сих горниц также разделялась на две половины: собственно горницу и комнату, отделенную от горницы перегородкой. Приготовляясь к свадьбе, Жолобов приказал выбрать перегородку, и таким образом устроился изрядный зал. Во всем доме все было вычищено и вымыто, не исключая ни потолков, ни даже наружных стен дома. В переднем углу горницы стоял большой стол, на котором были наставлены разные сласти как-то: изюм, чернослив, винные ягоды и т. п. В числе их были и такие, которыми единственно пользуются в Иркутске, как например, китайские яблоки, черные и красные, из коих особенно вкусны первые. Они привозятся в Иркутск мерзлые, но от сего не только не теряют вкуса, но еще делаются сочнее, дозревая на морозе.

В переднем месте, за столом, сидели жених и невеста Первый подле жениха, по правую его руку, находился посаженый отец, Марк Терентьевич Доброкваскин, а подле него по старшинству сидели поезжане. На левой стороне, то есть на стороне невесты, сидели жены поезжан, но первая из них была воспитательница Алексея, Домна Сидоровна. Прочее пространство горницы занимали гости, теснясь друг подле друга. У самой стены сидели девушки, распевая свадебные унылые песни, от которых невеста заливалась слезами. Несмотря на свое знакомство с Алексеем она, по обыкновению, не говорила с ним ни слова и даже не глядела на него, исключая тех минут, когда подносил фрукты, ибо тогда жених должен был встать, взять тарелку и потчевать невесту. На лице жениха, как ни старался он казаться веселым, также была видна какая-то тайная скорбь, так иногда солнечный луч силится прорваться сквозь тучи, которыми его застилает буря. Причина печали его была известна Жолобову, но была скрыта от Натальи. Алексей дня за два до смотренья хватился украденных у него бумаг. Не найдя их нигде, по самом прилежном разыскании, он принужден был объявить о потере. По строгости тогдашнего времени надлежало бы немедленно посадить его под стражу, но его спасло известное всем честное его поведение, отличное добродушие тогдашнего губернатора и особенно просьбы Жолобова у всех начальствовавших тогда лиц, ибо сии просьбы, по самом точному выражению, имели хороший вес. Губернатор уверил Жолобова, что Алексей не постраждет, но за все тем судьба его не была еще решена. Опасение, какое имел Алексей, было основано на недоброжелательстве к нему советника Стукаленко, хотя Алексей и не знал сему причины. Сие опасение разделял с ним и сам Жолобов. Посему в то время, когда внимание гостей было развлечено то угощением, то песнями, то положением жениха и невесты, Жолобов, подсев к Скрыпушкину, старался завести издалека с ним разговор о деле Алексея, но несмотря на все старание свое, не имел успеха, ибо Скрыпушкин, выпив сряду несколько стаканов пуншу, обыкновенно в гостях засыпал и по непостижимому инстинкту просыпался только в минуту приближения подноса.

– Карп Кириллович! – сказал Жолобов, подозвав человека с пуншем. – Милости просим ещё по стаканчику.

Скрыпушкин проснулся и, не сказав ни слова, даже не раскрывая глаз, механически протянул руку, изловил пунш и, выпив его одним разом, снова погрузился в свое сладостное забвение.

Между тем пир приближался к концу, а с тем вместе от чрезвычайной тесноты становилось в горнице душнее и душнее.

– Не худо бы отворить хоть одно оконце, Андрей Иванович,– сказал Доброкваскин, утирая пот, лившийся с него ручьем,– а то душненько немного.

– Сейчас, Марк Терентьевич! – отвечал Жолобов. – А, батюшки-светы! – продолжал он, растворяя окно,– Какая теметь! Словно не как в июне, а как в глухую осень. Хоть глаз выколи! Зги не видно!

И какая тишь! Ни один листок не шелохнется в саду. – прибавил Марк Терентьевич. – А хорошо бы, хоть миленько ветерочек пахнул. Право, такая духота в воздухе!

В сие время послышался вой собаки и мычание коров.

– Что это, батюшка Андрей Иванович, – шепнула тихонько Жолобову Домна Сидоровна. – Не уймёте проклятую-то? Ведь так и воет! Словно как по покойнику. Наше место свято.

– Хорошо, Домна Сидоровна. Я сейчас велю запереть ее. Только не понимаю, что сделалось с моими коровами? Чу! и лошади заржали. Право, странно! Не понимаю, что за причина.

– А чувствуете ли, Андрей Иванович, – спросил Доброкваскин, – какой понес запах? Точно как будто серою пахнет. Смотри, что без чуда не обойдется.

В продолжение сего разговора девушки, пропевшие по песне каждому из поезжан, поставили на стол тарелку, в которую и положили сии последние по нескольку медных денег. После сего жених начал собираться домой и, простившись с невестою, вышел в сени, но должен был воротиться, потому что девушки запели ему:

Алексей-господин, воротися!

Федорович, воротися!

Наталья-душа без тебя стосковалась;

Андреевна стосковалась!

Сия церемония повторялась до трех раз. Но едва в третий Алексей поцеловал невесту, как вдруг раздался страшный подземный гром, подобный залпу нескольких орудий. Все вздрогнули, побледнели от ужаса, вскочили со стульев и начали креститься.

– Это подземный удар,– сказал Жолобов.– Кажется, надобно ждать сильного землетрясения.

– Я сказал, что без чуда не обойдется,– подхватил Доброкваскин. – Так и есть!

Между тем вновь наступила прежняя тишина, но воздух чрезвычайно сгустился и серный запах сделался еще ощутительнее. Несколько минут продолжалось сие грозное безмолвие. Потом вдруг пробежал какой-то невнятный гул, и в то же мгновение дом затрясся, зазвенели оконные стекла, задрожала мебель и посуда в шкафах, и двери сами собою начали растворяться и затворяться.

– Землетрясение! – вскричал Жолобов. – Выйдем поскорее на улицу.

Все бросились из горницы и в общем переполохе сшибли со стула асессора Скрыпушкина, который ударился головой об ножку стола и, пробудившись, не понимал, где он находится, ибо никого не видел вокруг себя, а между тем невольно отскакивал от пола и стучал головой столешницу.

Выбежавшие на улицу молились богу. Никто не говорил ни слова. Всех сердца, за минуту радостные и веселые исполнились ужаса и, так сказать, замерли, ибо нигде не представлялось спасения. Окрест все колебалось и готов было рушиться, самая земля, которую так привыкли воображать твердой, незыблемой, волновалась подобно бурному морю.

– Андрей Иванович! – закричал один из гостей. Берегитесь, труба валится.

Едва Жолобов успел отскочить от стены, как труба рухнула и кирпичи с треском посыпались с крыши. В то же время раздался беспорядочный звон колоколов.

– Чу! Колокола звонят сами собою, – сказал Жолобов. – Господи боже мой!

– Какой ужас! – говорил Алексей, – Колокольни так качаются, что готовы упасть.

– Ах, батюшки! – вскричала Домна Сидоровна. – Уж не крест ли слетел с церкви? Так и есть! Ах ты, владыко!

Землетрясение продолжалось не более минуты, но ужас, наведенный им, был так, велик, что Гости не могли еще поверить, что оно уже действительно окончилось. Все стояли как приговоренные к смерти.

– Кажется, не будет более, – сказал Желобов.– Бог милостив! Пойдемте в дом.

– Я дрожу от страха, – сказала тихонько Наталья своему жениху, когда они проходили сенями. – Уж что не предвещает ли нам сие бедствие?

– Будем надеяться на бога, – отвечал Алексей, крепко сжав ее руку. – Вся наша жизнь в его воле!

– Ах, милый друг! Что бы ни случилось с нами, лишь бы ты был со мной, я ничего не боюсь, но если...

Она не могла договорить этой речи, слезы навернулись на глазах ее. В сие время отворились двери в горницу, и гости, войдя в оную, едва могли удержаться от смеха, смотря на вылезающего из-под стола Скрыпушкина.

– Ах, извините, батюшка Карп Кириллович, – сказал Жолобов, пособляя ему встать,– что мы оставили вас одного. Да что делать? У страха глаза велики.

– Скажите мне, бога ради, Андрей Иванович, что все это значит? Отчего я очутился под столом?

– Землетрясение, батюшка Карп Кириллович, землетрясение.

– Вот что! Так оно у меня и пунш разлило. Однако ж не все, хоть на донышке, да осталось. Знай наших! Хе-хе-хе!

– Не прикажете ли дополнить, Карп Кириллович?

– Нет, нет, Андрей Иванович, на все есть мера. Спасибо землетрясению, я теперь вижу тебя об одной голове, и давеча у меня по милости твоей в глазах двоилось, и если бы не землетрясение, то я, признаться, и не вспомнил бы кое о чем сказать тебе, а почти для того и ехал.

Выйдя в сени, Скрыпушкин что-то начал тихо говорить с Жолобовым, потом вызвали Алексея, и когда он возвратился в горницу, то по бледному и трепещущему виду его Наталья тотчас предугадала, что им угрожает какая-нибудь страшная беда.

**ГЛАВА VII**

На восточном берегу Байкала есть маленькая деревушка Култук. Она стоит на небольшой долине, посреди гор, которые, идучи по берегам озера от востока к западу, мало-помалу стесняют его и наконец на сей долине, сходясь довольно близко между собою, образуют угол (по-бурятски култук), обыкновенно называемой гнилым, ибо бури, свирепствующие на Байкале, большей частью рождаются в сем углу, представляющем род воронки.

В один из осенних дней, когда Байкал обыкновенно начинает покрываться седым туманом, почти на самом рассвете неизвестный человек, выйдя из сказочной деревушки, сел на камень подле морского берега. Вокруг него была глубокая тишина, прерываемая только дремлющей волною, тихо плескавшею на берег, и изредка криком петуха, пробуждавшего земледельцев к работе. Судя по платью, должно было думать, что сей человек был путешественник. Глубокая горесть изображалась на его лице. Глаза его, устремленные в туман, казалось, ни на что не смотрели. Долго он был в сем роде забвения. Между тем делалось светлее и светлее, туман начинал редеть и подниматься подобно завесе, открывая постепенно взор путешественника скрывавшиеся за ним предметы. Сперва открылись мысы ближайшие, потом начали, так сказать восставать из моря и отдаленные: Кадильной, Посольской и другие, подернутые синею пеленою. Наконец туман поднялся выше вершин гор и разделился на группы облаков, невольно смиряясь при появлении царя природы который, выходя из пучин моря, позлащал их благотворным лучом своим. В то же время, как бы во сретение его разостлалась по всему беспредельному протяжению моря златая ткань, блиставшая при колебании, волн изумрудами и бриллиантами. Горы, подобно великим жертвенникам, издавали курение, птицы воспевали песнь: вся природа, казалось, приветствовала грядущего.

С постепенным прояснением картины прояснялось лицо путешественника. На нем вместо горести и отчаяния, изобразилась какая-то тихая радость, которой предается сердце в те быстро пролетающие минуты, когда посреди мрака бедствий блеснет в нем отрадный луч надежды.

– О ты! – говорил он, устремив взор свой к небу.– Ты, погружающий в бездны сие лучезарное светило и вновь возводящий его на небо. Всемогущий творец вселенной. Ты один своею благотворной десницею можешь вывести и меня из бездны несчастья. Ты только один можешь разогнать туман бедствий, сокрывающий от меня все драгоценное моему сердцу. – Тут слезы полились из глаз незнакомца, и он умолк.

При появлении первых лучей солнца уже вся деревня была в движении. Трубы начинали куриться, ребята выгоняли на поле коров, и каждый из крестьян принимался за свою работу. Хозяин того дома, в котором ночевал описанный выше путешественник, был зверолов. Сняв со стены винтовку и сев пред затопленной печью, он отвинти замок, тщательно осмотрел его, смазал маслом и начал чистить дуло. Между тем жена его жарила оладьи и задвинула в печь чайник с водой и кастрюлю с пельменями, то есть маленькими пирожками с говядиной, которые парят в воде и обыкновенно употребляют вместо супа все путешествующие сибиряки.

– Ну што, брат, чай, многих уже устряпал на своем веку? – спросил хозяина сидевший подле него казак.

– Да, довольно-ста поработал! Очередь приходит и до сорокового, не знаю, чем бог скрасит! (В Сибири между звероловами есть мнение, что сороковой медведь всегда съедает охотника.)

– По правде сказать,– подхватила жена, – черт тебе дал эту проклятую охоту, того и смотри, что без головы придешь! Ведь топтыгин-то не свой брат.

– Полно, вздорщица. Двух смертей не будет, а одной не миновать. Вон Васька Батур уже по сорок четвертого поехал.

– А что, ясачный, видно? – спросил казак. (Ясачный – крещеный бурят.)

– Да, – отвечала крестьянка, не дав промолвить своему мужу, и потом, обратись к сему последнему, продолжала. – Хорошо, что ему с рук сошло! А помнишь летось-то Антипа Горемыку сороковой-то проглотил словно муху, мужик-то, мужик-то был! Уж не Ваське чета.

– Что правда, то правда, – говорил муж ее казаку. – Мужик был, слышь, какой здоровенный. Редко давал он маху из винтовки, а если случится, так, не поверишь, бросит сам ружье да пойдет на топтыгина с одними ру­ками, схватит его за уши да оземь – туг и пар вон!

– Знавал и я одного молодца, – говорил казак. – Звали его Сергей Громило. Уж подлинно Громило. Одной рукой поднимал пятнадцать пуд, а, кажись, ростом был невелик. Познакомился я с ним проездом в Зашиверске. Вот место-то, подумаешь! Ах ты, господи боже мой, сущая каторга!

– А что же такое там, кормилец? – спросила крестьянка.

– Да то, тетка, что солнышко не успеет обогреть хо­рошенько, а земля едва на пол-аршина растает, как вдруг подскочат морозы и поднимется такая, слышь, пурга, что света божьего не взвидишь.

– Эка притча! – говорила с изумлением крестьянка. – Ну что же, если она в дороге застанет?

– В дороге! Какие там дороги! Едешь куда глаза гля­дят, да куда собаки тащат.

– Что ты, батенька! Неужто на собаках там ездят?

– Да только одно и спасенье, что на собаках. Слышь, инда верст на тысячу нет ни кола ни двора, а кое-где стоят юрты якутов, да и те, как поднимется пурга, так занесет доверху, что и следа нет.

– Ах ты, господи! Да как же едут тогда?

– Ну вот ездок и пустит собак на волю божию, а они бегут, бегут, и как почуют жилой запах, то и остановятся. Ездок, слезай да и раскапывай снег: тут, верно, уж юрта. А иногда случается, что и просто разгребут снег да раскладут посреди его огонек, да, благословясь, и лягут но­чевать. Что станешь делать?

– Экое чудо, подумаешь! А далеко ли отсюда этакая земля?

– Да от Иркутска, если поедешь все на север, будет около двух тысяч пятисот верст.

– И все на собаках едут?

– Не все! До Якутска едут по реке, по Лене, или на лошадях по берегу, а за Якутском к Ледяному морю на собаках.

– К Ледяному морю! Экое чудо. Ну и лета там сов­сем не бывает? Круглый год зима?

– Бывает-то бывает, да больно коротко, много меся­ца два, так что чуть трава поднимется, а хлеб сеять – и не заводи.

– Чем же люди-то там питаются?

– Да бог-то, вишь, мудрен! Хлеба там нет, так зато рыбы вдоволь. Осень настанет, так хоть руками лови. На­ловят ее на круглый год, да тут же на реках и навалят в амбары. Взять некому, кроме медведей. Они, проклятые, иногда озорничают. Однажды Сергей Громило, о котором я говорил, подъезжая к амбару, увидел, что крышка на нем раскрыта. Он и смекнул: быть делу неладну! И говорит работнику: «Послушай, Филька! У нас в амбаре вор. Я стану у дверей и растворю их, как он бросится оттуда, то схвачу его за уши, а ты смотри не робей и колоти его тут.» – «Хорошо!» – сказал работник. Вот только что мишка бросился из дверей – Громило его за уши да и прижал к земле гак, что он шевельнуть не мог головой. «Колоти его!» – кричал Громило работнику, а тот, окаян­ный, струсил, бросил хозяина да залез на дерево. Громи­ло, не видя работника, оглянулся назад, а медведь так рванулся, что оторвал себе одно ухо до корня. Громило и тут не сробел: прижал его к земле коленом, да и зак­ричал работнику: «Послушай ты, мошенник! С медведем я как-нибудь справлюсь и один, только тогда тебе живому не быть». Работник испугался его еще больше, нежели медведя, он знал, что Громило стоит Мишеньки. Хоть рад, хоть не рад, принужден был слезать – да хвать медведя топором, так что...

– Глядь-ко, служивый! – сказал хозяин, обернувшись к окошку. – Не твой ли это господин сидит вон на бере­гу, на камне?

– И то он.

– Так попроворнее же пошевеливайся, – говорил крестьянин своей жене. – Не заставь ждать.

– Да что ему не спится? – ворчала жена. – Эк, бать­ка, встал ни свет ни заря.

– И впрямь, видно, не спится, – говорил хозяин. – Что-то он больно печален. Смотри-ка... Так и есть!.. Утира­ет слезы. Да и старик-то с девушкой... это дочь, что ли, его?

– Дочь, – отвечал казак.

– Уж такие горемыки, что господи упаси! Старик, слышь, как часовой почти всю ночь проходил по горнице, только на рассвете угомонился, а дочь-то, кажись, и глаз не смыкала; ох да ох! Родня, что ли, они ему?

– Да были бы родня, кабы грех не попутал.

– А что же, батюшка? – спросила крестьянка.

– Да девушка была, слышь, совсем уже сговорена за него, как вдруг открылось, что он потерял какие-то бума­ги, и если бы не будущий-то батюшка постарался, то, мо­жет быть, не я бы с ним ехал, а он со мной.

– А куда же едет он, кормилец?

– Ну да решили тем, чтобы выдержать его два меся­ца на хлебе да на воде, да потом послать навсегда в Нерчинск.

– То есть в ссылку, родимый?

– Ну ссылка не ссылка, хотя на то же походит. Он будет служить там: ведь чина-то его не лишили. Губерна­тор, слышь, был на его стороне. Да и парень-то куда доб­рый. В канцелярии, где он служил, сторожа нахвалиться не могли, да и наш брат, как станет на вести и куда-ни­будь сходит для него, так никогда без алтына не отойдет, а иногда и по целой гривне давывал.

– Экой добрый! – говорила крестьянка. – Да что же старик-то попятился, что ли?

– Глупая! – сказал муж ее. – Коли бы попятился, так горевать бы не стал и провожать бы не приехал!

– Вестимо, что не приехал бы, – подхватил казак. – И не только что не попятился, а еще когда, говорят, пришла к нему сваха от купца Груздева, так почти выгнал ее и решительно сказал, что слову своему не изменит, до­чери своей ни за кого другого не отдаст и что не пожалеет своего имения, лишь бы выручить скорее из опалы своего нареченного зятя... А! Вот он уже идет. Давай же проворнее оладьи да вытащи чайник.

В продолжение сего разговора Алексей возвратился в дом и начал приготовляться к отъезду.

Дорога, по которой он должен был ехать, называясь Кругоморскою, обходит Байкал с восточной стороны и в осеннее время, когда ужасные бури свирепствуют на Бай­кале, служит единственным сообщением между Иркут­ским и Забайкальским краем. До Култука она идет тележной, а потом превращается почти в тропинку, способ­ную для одной верховой езды. Особенно таковой была она в описываемое нами время, не составляя еще почтового тракта, а быв известна одним бурятам. И ныне, когда употреблены великие усилия для улучшения сей дороги, все еще нельзя ездить по ней в экипажах, ибо от самого Култука она поднимается на высочайшие горы и проле­гает частью по вершинам, частью по бокам гранитных утесов, которых разработка совершенно невозможна. Нель­зя без некоторого удивления видеть, как рука человечес­кая старалась покорить, так сказать, своей власти недос­тупный Хамар-Дабан. Дорога, по нем идущая, кажется повешенною на воздухе. Она прикреплена к горе обру­бами и идет в виде извилин (en. Zigzag), потому что пря­мой подъем по чрезвычайной крутости был бы почти перпендикулярный.

Лошади стояли уже перед домом. Одна приготовлена была для Алексея, другая для казака, третья для ямщика-бурята, четвертая для хозяина дома, который, отправ­ляясь на ловлю, решился доехать до Хамар-Дабана вер­хом, и две вьючных с чемоданами Алексея.

Долго не выходил Алексей. Бурят закурил трубку, а казак с хозяином на досуге опять принялись разговари­вать о медведях.

– Да что они там делают? – спросил последний жену свою, выходившую из ворот.

– Вишь, не могут наговориться! – отвечала жена. – Девица-то, слышь, так рыдмя и рыдает, да и господин-то не лучше. Один старичок-то – дай бог ему здоровье! – крепится, то к ней, то к нему подойдет да уговаривает: все, дескать, устроит к лучшему. Признаться, глядя на них, и я досыта наплакалась.

– Правду сказать, – говорил казак, – и дорога не­близкая. К тому же грязи, болота, леса, звери, да, пожалуй, брат, еще попадешься в наддачу в руки каторжных, так оберут как тапку. Есть о чем поплакать.

– Ну, слава богу, идут, – сказал хозяин, садясь на ло­шадь.

Караван потянулся гусем на гору. Слезящийся взор Натальи был устремлен неподвижно на того, кто увозил с собою ее счастье, и без которого мир делался для нее пус­тынею. Караван то скрывался за лесом, то инда, где дерева редели, опять выказывался, наконец еще раз показался на вершине горы.

– Прощай навеки! – сказала Наталья и упала в объя­тия отца.

Спустя несколько минут Жолобов и дочь его сели в по­возку, ямщик махнул плетью, лошади помчались стрелой, и колокольчик огласил безмолвные горы.

Недалеко от дороги, ведущей из Култука в Иркутск, чернеется на горах так называемый Шаманский камень, ве­личиною подобный утесу. Там некогда бурятские шаманы приносили жертву своим богам, и до сего времени, несмот­ря на принятие веры ламайской, буряты все еще сохраняют невольное уважение к. сему месту. Окрест него растет дре­мучий лес, претерпевший страшное разрушение от пожаров. Обгоревшие на большое расстояние деревья чернеются по­добно привидениям, как бы знаменуя царство темных духов, поселяемых здесь суеверным воображением. Проезжая посреди сего места, Наталья чувствовала невольный трепет. Сам Жолобов не был совершенно чужд веры в народные предания. Но боясь опасности мнимой, они не предвидели существенной. Вдруг ямщик осадил лошадей и, обернув­шись к Жолобову, сказал трепещущим голосом:

– Неладно, барин!

– Что такое? – спросил с поспешностью Жолобов и, приподнявшись из повозки, увидел впереди выходивших на дорогу из лесу, в некотором расстоянии друг от друга, вооруженных винтовками людей, которых зверская наруж­ность показывала, кто они были. – Погоняй! – закричал он ямщику.

Ямщик ударил по лошадям, они бросились опрометью, но разбойники загородили им дорогу и схватили за узды.

– Стой! – крикнул один из них громовым голосом.

Жолобов, умевший сохранять во всех опасностях присут­ствие духа, вышел из повозки и, отдавая остановившему ло­шадей разбойнику тулун *(Мешок из звериной кожи.)* с медными деньгами сказал:

– Вот возьмите все, что у меня теперь есть. Я ездил только до Култука провожать моего родственника, и эти деньги единственно взял на прогоны. Более у меня нет ни одной копейки.

– Посмотрим! – сказал тот же разбойник, по-видимо­му бывший начальник шайки. – Ребята, тащите-ка повоз­ку в лес да приготовьте бересты. По бороде видно, что это купец, так без бересты денег у него не найдешь, как у змеи ног.

Разбойники потащили повозку в лес. Приведенная в ужас Наталья сидела в ней как бы в некотором онемении, как бы не понимая, что вокруг нее делается. Но когда разбойники разложили огонь и, насыпав серы на заж­женную бересту, начали раздевать отца, она проснулась от забвения, выскочила из повозки и, бросясь к отцу, вскричала:

– Злодеи! Мучьте меня, но пощадите моего отца!

– Ладно, пощадим! – сказал разбойник. – Свяжи-ка ее, Коровин, да посади с собою на коня. Славный пода­рок привезешь атаману.

– Не тронь ее, изверг! – закричал отчаянно отец и, выхватив нож у стоявшего близ него разбойника, бросил­ся защищать свою дочь. – Первый, кто подойдет к ней, умрет!

– Не робей, Коровин! – закричал начальник шайки. – Катай его из винтовки!

Но Коровин, быв еще новичком в ужасном ремесле разбойничества, с приметным отвращением поднимал винтовку. Наконец он прицелился в Жолобова, уже жизнь сего последнего висела на волоске, и одно мгно­вение отделяло его от вечности... как вдруг разбойник с некоторым ужасом бросил из рук ружье и вскри­чал:

– Боже мой! Это ты, Андрей Иванович! Прости ме­ня, грешника, я не узнал тебя. Ах, меня погубил злодей Груздев, но я еще помню людей добрых, еще не забыл твою хлеб-соль!

– Стреляй, мошенник! – закричал начальник шай­ки. – Или я тебе самому всажу пулю в лоб!

– Делай со мной, что хочешь, но у меня руки не поднимаются. Это купец Жолобов. Он настоящий отец всех бедных. Он несколько дней призирал и меня, когда я шатался нищим по городу, доколе не встретился с ва­ми в проклятом тычке. Если хотите его убить, так убей­те и меня с ним вместе, а одного его убить не дам!

– Так гибните же оба! – закричал разбойник, взво­дя курок.

– Эсаул! – сказал ему тихонько один из товарищей. – Смотри, чтоб Буза тебя самого не отблагодарил пулею, если убьешь Коровина. Ты знаешь, что он хотя и нови­чок, да один с десятерыми справится, потеря такого мо­лодца не шутка!

Имя Бузы не утаилось от Жолобова, слушавшего ше­пот разбойника с величайшим вниманием.

Есаул, выслушав его, несколько задумался и потом опустил ружье.

– Ну, нечего делать, – сказал он, обратясь к Корови­ну. – Коли он такой добрый, так пусть его живет. Ребята! Обшарьте проворнее повозку, купца привяжите к дереву на дороге, а дочь проворнее на коня. Ну марш! Духом!

Несколько человек мигом бросились на Жолобова, обе­зоружили его, привязали к дереву вместе с ямщиком, обыскали повозку, и потом вся шайка, сев на коней, пом­чалась по лесу. Долго отчаянные вопли Натальи, повто­ряемые эхом, были слышны Жолобову и раздирали его сердце, потом звуки становились слабее и слабее, наконец голос совершенно исчез во глубине лесов, и мертвая ти­шина пустыни водворилась вокруг несчастного страдальца.

**ГЛАВА VIII**

В осеннее время в полуденной части Иркутской губер­нии, то есть в уездах Иркутском и Нижнеудинском, осо­бенно же за Байкалом, пользуются погодою ясною, сухою, можно сказать, самою приятною, ибо тогда нет ни летнего утомительного зноя, ни зимнего холода. Самый октябрь, дождливый и скучный в здешней столице, там отличается ясным кебом и ведренною погодою. При свежести воздуха даже начинающиеся тогда небольшие морозы имеют в се­бе какую-то особенную приятность. Воздух бывает столь животворен, что нельзя довольно им надышаться.

Таким образом, когда Алексей выехал из деревни Култук, погода была в полдень, несмотря на наступление сентября, теплая и прекрасная. Но, поднявшись на горы, он почувствовал холодный и пронзительный ветер, дувший из глубоких долин, или, как называют в Сибири, падей.

При закате солнца Алексей приехал к подошве Хамар-Дабана, где и должен был остановиться ночевать, быв утомлен верховою ездою. Наслышавшись много о высоте сей горы, он чрезвычайно удивился, не найдя ее слишком высокою, и свое удивление изъявил известному хозяину дома, которого мы теперь назовем по имени Тимофей Брагин.

– Да ведь мы проехали, – возразил сей последний. – Почитай, верст с сорок, а все ехали в гору, только тут инда спускались, так мудрено ли, что вам показался Хамар-Дабан невысоким. А взгляни-ка направо-то, в падь, так и дна не увидишь.

В самом деле, Алексей, подъехав к бурятской войлоч­ной юрте и оставив бурятам свою лошадь, чрезвычайно изумился, когда подошел на край пади и взглянул вниз. На дне ее высочайшие кедры показались тростинками и воздух синелся, как бы все было подернуто дымом, сквозь которого едва мелькал огонек, и подле него чуть-чуть ри­совалась фигура сидящего человека.

– Правда твоя, Брагин! – сказал Алексей. – Это су­щая бездна. Но что это там чернеется, точно как человек сидит подле огонька?

– Вестимо, что не дьявол, – отвечал Брагин. – Дья­вол не станет огня раскладывать. Это, чай, наш брат, зверолов. Да вот мы посмотрим его поближе.

– То есть ты хочешь сломить себе шею.

– Нет, не шею сломить, а хочу вам достать воды для чаю. Здесь, кроме пади, нигде ее не найдешь. Там, почи­тай, на самом дне, течет из горы ручеек, а ведь туда, кро­ме меня, никого ни за что не спихаешь. Наше же дело таковское.

Сказав сие, крестьянин взял медный чайник и дей­ствительно начал спускаться в падь.

– Что ты делаешь, сумасшедший? – закричал Алексей.

– Ведь вы видите что, – отвечал крестьянин, про­должая свое дело.

– Ах, боже мой! – говорил Алексей сам себе с не­которым испугом. – Этот глупец живой не придет на­зад. У меня кружится голова, когда я только взгляну в эту адскую пропасть!

В самом деле спуск был чрезвычайно крут, почти пер­пендикулярный. Он состоял большею частью из песка, смешанного с мелкими камешками, между которыми про­бивалась местами трава. На половине горы начинали рас­ти мелкие сосны, которых корни держались, так сказать, на прилепе и расстилались поверх земли. Сосны, чем бо­лее приближались к подошве горы, тем становились крупнее. Наш герой, почти падая между дерев, держался за них с величайшей осторожностью, опасаясь, дабы они не обрушились. Наконец, при помощи необыкновенной силы и проворства, борясь в течение получаса с неверо­ятными затруднениями, он почти достигал уже желае­мого предела. Но между тем чем более он углублялся в падь, тем более небо над ним суживалось и вокруг него делалось темнее и темнее. Сверх того, черная туча повис­ла над горами и совершенно затемнила воздух. Глубокая тишина, предвозвестница грозы, царствовала в лесах. Слабейший шорох древесного листа, падение малейшего камешка не могли утаиться от слуха. Казалось, все име­ющее жизнь умерло, только ночная птица, перелетая с дерева на дерево, нарушала благоговейное молчание при­роды. Потом вдруг из глубины пади понеслось дыхание бури, дождь полил рекою по покатости горы и молния огненною струею пролилась на вершину Хамар-Дабана. Вся окрестность озарилась на одно мгновение, и потом снова обхватила все тьма, во глубине которой раздался оглушающий удар грома, и горное эхо тысячекратно пов­торяло его в густых, постепенно ослабевающих перека­тах. В сие грозное мгновение висевший, так сказать, меж­ду землею и небом отважный зверолов, сколь ни был привычен к подобным явлениям природы, смутился и, прижавшись к одной небольшой сосне, снял шапку и хо­тел перекреститься, как вдруг неверное дерево, худо дер­жавшееся в каменистом грунте й сильно качаемое вет­ром, рухнуло и в своем падении увлекло несчастного. Быстро катился он по мокрой и скользкой земле, напрас­но усиливаясь схватиться за нее руками, ибо, по несчастию, на пути не встречалось более ни одного дерева. Положение сие было для него тем ужаснее, что гора, как было ему известно, в саженях десяти от основания окан­чивалась утесом. Докатившись до сего утеса, бедняк еще раз употребил последнее усилие: он схватился за край и повис на руках вдоль по утесу. Напрасны были его вопли – свирепая буря заглушала их своим ревом. Наконец силы его истощились и, сказав: «Господи! Прости мои согрешения!», – он опустил руки и упал в пропасть.

Тот, кто знает, как люди, падая с высоты, спасались иногда чудесным образом, не удивится, что и сей бед­няк такжё избегнул почти неминуемой смерти. При по­дошве утеса, на котором висел он, стоял кедр, который, быв, как вероятно, поражен молнией, обгорел и засох, и только несколько сучьев торчали от полусгоревшего пня. Зверолов, падая с великим стремлением вниз, задел шу­бой за один из сих сучьев и повис в воздухе саженях в трех от земли. Сперва он совершенно обеспамятел от ужаса, но вскоре, придя в себя и чувствуя, что еще жив, употреблял всевозможное усилие, чтобы хватиться рука­ми за сук, однако ж никак не мог до него достать. Оста­валось одно средство – кричать, но буря еще не пере­стала, и шум лесов подобился реву водопада, совершен­но заглушая его вопли. Наконец по прошествии некото­рого времени ветер несколько стих, и крик Брагина был услышан человеком, сидевшим подле огня. Незнакомец поспешно встал, положил на погасавший уже огонь не­сколько сухих сосновых ветвей, сбереженных им от дож­дя, и, взяв винтовку, пошел скорыми шагами на голос.

– Батюшка, отец родной, спаси меня! – кричал Бра­гин.

– Толмач угей (то есть не знаю, что говоришь ты), – отвечал незнакомец на братском языке и, сняв с плеч винтовку, начал прицеливаться в крестьянина, по­лагая, что он беглый из числа каторжных, которых брат­ские обыкновенно бьют с большею охотою, нежели зве­рей, говоря: со зверя снимешь одну шкуру, а с каторж­ного часто две и три, то есть шубу, рубашку.

В сие время молния еще раз осветила горы, и Бра­гин с ужасом увидел наведенное на него ружье, не мог­ши, однако ж, вскорости рассмотреть, кто был его убийца.

– Злодей! – закричал он. – Что ты делаешь?

– Толмач угей, – повторил неизвестный и в то же мгновение выстрелил из ружья, но, быв ослеплен молниею, не мог сделать верного удара. Пуля, миновав на­стоящую цель, попала в сук, перешибла его и, таким образом, на место зла сделала еще добро, то есть освобо­дила бедного висельника от его ужасного положения.

Брагин, хотя изрядно ушибся, однако же, одержимый справедливым гневом, почти не слыхал сего, вскочил на ноги и, схватив обломок сука, бросился на незнакомца, который также приготовился к сильному отпору. Уже два героя готовы были нанесть друг другу по доброму удару, как, по счастью их, сосновые ветви, лежавшие на огне, загораясь мало-помалу, вдруг вспыхнули и освети­ли поле битвы и лица сражающихся.

– Кой черт! – вскричал один из них. – Это Васька Батур!

– Ба, это Тимошка Брагин! – закричал другой. – Да какой дьявол тебя повесил на эту спицу?

– А ты ослеп, что ли? Ведь видишь, что не тетерев на суку, а, знай, стреляешь, да еще и притворяешься – толмач угей!

– Кто же знал, что это ты! Разве бы сам черт дога­дался. Я думал, какой-нибудь каторжный за грехи свои попал сам на виселицу, ведь видишь какая темень. Да отчего ты повис тут?

Брагин рассказал своему приятелю историю своего похождения и потом, кое-как отыскав свалившийся с го­ры чайник и почерпнув воды, оба начали подниматься по тропинке, обходившей сбоку известный утес. На полови­не подъема встретили они Алексея, который, долго ждав крестьянина и услышав выстрел, начал опасаться за не­го и потому сам решился идти к нему на помощь, взяв с собою казака и двух братских.

По обеим сторонам дороги, по которой проезжал Алексей к Хамар-Дабану, растет непроходимый кедровый лес, до которого никогда не прикасался и, вероятно, ни­когда не прикоснется топор дровосека. Небольшие проме­жутки между гигантскими деревами, коих необъятная тол­стота показывает их вековое существование, наполняются молодыми подростками, так тесно друг подле друга рас­тущими, что почти невозможно между ними пробраться. Самые солнечные лучи не проникают сквозь густоту леса, и во глубине его под защитою вечной ночи царствует лю­тый медведь, гроза и враг безоружного путешественника.

Юрта, в которой расположился ночевать Алексей, бы­ла почти со всех сторон окружена сею дремучею трущо­бою, или, как называют в Сибири, трещею, вероятно, от треска, слышимого при проходе сквозь трущобу больших зверей.

Недалеко от юрты были привязаны лошади, и вокруг их, равно и вокруг юрты, были раскладены огни в самом близком расстоянии один от другого для обороны от нечаянного нападения медведей. На рассвете, когда огни на­чали уже погасать, сама юрта едва курилась и все путешественники спали глубоким сном, вдруг пошел сильный треск по лесу. Лошади вздрогнули и, захрапев, начали бить в землю копытами и рваться с удил. Равным обра­зом и звероловы, привычные к подобным звукам, немед­ленно почуяли приближение известного врага. Один из них, приподнявшись с войлока, служившего ему постелью, и прислушиваясь к шуму, спросил тихонько другого:

– Слышишь? Ведь это работа топтыгина.

– Как не слыхать, – отвечал Батур так же тихо. – Не спится ему, дьяволу. Вишь, свежинки-то захотелось.

– Вон выполз из трещи, – сказал Брагин по некото­ром молчании. – Экой черт! Ровнехонько аршина четыре с головою.

– Да вот мы померяем его, – отвечал Батур, взяв­шись за винтовку и насыпая на полку порох.

– Взглянь-ка! – продолжал Брагин, смеясь потихонь­ку. – Вишь, какую штуку выкинул. Вывалялся в луже да и отрясает воду на огонь.

– Ну-ка, приятель, крепка ли у тебя шкура? – гово­рил Батур, прицеливаясь в медведя.

Раздался выстрел, но пуля только слегка ранила зверя, и он, наполнив лес ревом, бросился от огня.

– Не уйдешь от нас! – закричал Брагин, побежав вместе с Батуром вслед за своим неприятелем.

Преследуя медведя, звероловы приближались к не­большой лощинке, где он, встав на задние лапы, грозно готовился к битве, сверкая в темноте яростными глазами.

– Теперь твоя очередь, – говорил Батур. – Ну, начи­най с богом.

Брагин, хотя чувствовал невольный ужас, помня, что это был сороковой медведь, от которого, по внушенному с детства ему преданию, зависела его жизнь, однако ж стыдясь показаться трусом в глазах товарища, вышел мужественно из леса и, допустив к себе медведя на нес­колько шагов, выстрелил из винтовки. К несчастию, дро­жащие руки ему изменили, и пуля со свистом неслась в чащу, ломая древесные ветви. В то же мгновение медведь бросился на него, выхватил ружье и переломил его, как соломинку. Проворный зверолов схватил висевший у него на поясе нож, который при необыкновенной его силе всег­да был верный его товарищ в ручной схватке с медведями, но теперь никакое оружие не помогло бы ему, ибо у него недоставало важнейшей пружины всех воинских дел – уве­ренности в победе. Медведь одним, так сказать, мановени­ем вышиб у него нож и, уцепившись когтями за затылок, готов был содрать с него кожу, дыбы закрыть глаза, ибо глаз человеческих по непонятному инстинкту медведи чрезвычайно боятся.

– Батур, помоги! – закричал отчаянным голосом зверолов.

Еще выстрел огласил глухую трущобу, и пуля, ударив в бок медведя, пробила его насквозь. Тяжко раненный зверь, отпустив свою жертву, с ревом грянул навзничь.

– Дьявол, что ли, тебя задавил? – ворчал Бра­гин, утирая кровь, лившуюся из затылка. – Ведь ви­дишь, что медведь почти начал драть меня, а не стре­ляешь.

– Как же стрелять, – отвечал Батур, – когда ты за­городил его. Пожалуй, метил бы в ворону, а попал бы а корову. И то едва выбрал время.

После небольшой размолвки звероловы мигом сняли с медведя кожу и, выбравшись на дорогу, потащили ее к становищу.

Между тем по дороге ехал еще путешественник в соп­ровождении ямщика Лошадь, находившаяся под ним, почувствовав медвежий запах, бросилась во весь скак и понесла его под гору прямо в падь, которая известна нам по приключению с Брагиным. Оставалась одна минута, по прошествии которой и бешеное животное; и несчастный седок полетели бы стремглав в пропасть, но, к счастью, Алексей, пробудившись от первого выстрела, ходил по до­роге в ожидании звероловов. Увидя несущуюся в про­пасть разъяренную лошадь, он бросился к ней навстречу и с опасностью собственной жизни остановил ее на самом краю бездны. Обеспамятевший от страха седок сначала почти не мог ничего говорить, но потом, придя мало-пома­лу в себя, не находил слов для изъявления Алексею своей благодарности.

Между тем восходившее солнце позлатило вершину Хамар-Дабана. Алексей приказал приготовляться к до­роге, и когда он сел на лошадь, то звероловы, простившись с ним, пошли каждый в свою сторону, затянув песни: Брагин – веселую, может быть, от радости, что счастливо отделался от сорокового медведя, а Батур – одну из тех родимых своих бурятских мелодий, в печальном напеве которых как бы отзывается грусть о минувшей свободе, а содержанием коих бывает первый встретившийся на гла­за предмет.

**ГЛАВА IX**

Поднявшись к вершине Хамар-Дабана, которая пок­рылась к утру довольно глубоким снегом, Алексей был поражен величественною картиною, перед глазами его раскрывшейся. На востоке, сливаясь с небом, синелись отдаленные воды Байкала, на западе тянулась бесконеч­ная гряда гор, которые, быв также по вершинам покрыты снегом и сияя подобно ярко освещенным облакам, представлялись в виде огромной великолепной стены, как бы нарочно сложенной для ограждения благословенных стран юга от хладных ветров севера. Далеко в бездне синелись дремучие леса, коих гордая высота также была непримет­на взору, как и величие всего земного незаметно пред взором, возносящимся к небу. Над головою светлел ясный голубой свод неба, по которому во всем блеске катился золотой шар утреннего солнца. Воздух был самый чистый и благорастворенный. Все возносило мысли к творцу и благодетелю человека, Алексей невольно остановился. Он чувствовал в душе своей возрождающуюся какую-то не­понятную силу, которая поставляла его выше всех превратностей земли, как будто все земное уже окончилось и начиналось небесное, как будто все земные бедствия уже не причастны ему, остались долу и не могут коснуться к нему на сей высоте, на которой он владычествовал над ними. Сие возвышенное парение духа так приближало его к вечно неизменному, вечно покойному небу, столь было сладостно, утешительно для сердца, что Алексей желал бы продолжить его навсегда, но сии минуты небесного блаженства, блистающего иногда душе, столь же кратки на земле, как блеск молнии, они только открывают на мгновение таинство будущего и снова погружают душу в прежний мрак земной ночи.

Между тем, как Алексей предавался мечтанию, весь караван поднялся на гору и начал спускаться вниз.

– Какой прекрасный вид, – сказал Алексей, обратись к известному путешественнику, который был селенгинский купец Гаврило Васильевич Неудачин, содержавший нахо­дящийся в недальнем расстоянии от Селенгинска соляной завод.

– Да, батюшка Алексей Федорович, видик больно хорош! – отвечал Гаврило Васильевич с большим равно­душием, быв из людей не самых чувствительных. – И ка­кие леса чудесные. Жаль только, что они здесь без всякой пользы либо сгниют, либо сгорят от палу. Вон за Култуком сколько лесов погибло. Прадо, взглянешь, так серд­це поворотится.

– Правда, – отвечал Алексей, дивясь бесчувствен­ности своего товарища. – Потому-то и. самое место назва­но Гарями.

– Ах, батюшка, кстати о Гарях-то, ведь какой же странный случай там встретился. Еду я, так помнится, часу около девятого... так, девятого, солнышко уже село за горы, в лесах была такая тишь, и я только что вздрем­нул, как вдруг слышу голос: «Помогите!» Я выскочил из повозки, глядь, а два человека привязаны к дереву. Я от­вязал их. И кто бы вы думали один из них?

– Почему мне знать, – отвечал побледневший Алек­сей, опасаясь за Жолобова и Наталью.

– Однако ж, как бы вы думали, кто? – продолжал несносный Неудачин.

– Боже мой, почему мне знать это!

– Мой старый приятель, капитальный купец иркут­ский...

– О боже, неужели это он? – сказал сам себе Алек­сей, дрожа от ужаса.

– Андрей Иванович Жолобов!.. Да что с вами сдела­лось? Вы валитесь с лошади!

В самом деле Алексей от ужаса упал в обморок и по­валился с лошади.

– Воды, воды! – закричал Неудачин, бросаясь под­нимать Алексея.

– Да где ее возьмешь? – отвечал казак. – Разве снегу?

– Давай хоть снегу, да проворнее!

Казак, сбегав недалеко от дороги, нагреб в шапку себе снегу и вместе с купцом начали оттирать Алексея. По про­шествии нескольких минут Алексей очнулся, как бы про­будясь от глубокого сна.

– Что с вами сделалось? – спросил Неудачин.

– Ах, ничего! – отвечал Алексей едва слышным голо­сом. – Не спрашивайте меня! Дайте мне несколько успо­коиться.

Он возвел глаза к небу и думал сам с собою:

«Этого только недоставало к моему несчастию! О, если Наталья убита!.. Но если...»

Тут какая-то непонятная ярость появилась на лице Алексея, глаза его заблистали гневом, и он, как бы по мановению волшебного жезла, к удивлению всех, вскочил быстро сам на ноги и с поспешностью спросил купца:

– Что сделалось с его дочерью?

– Он и сам не знает, – ответил Неудачин. – Кроме того, что ее похитили разбойники из шайки Бузы.

– Злодеи! Кровопийцы! Вы не уйдете от меня! – кричал исступленный. – Я найду вас на краю земли! Я растерзаю вас своими руками! Я...

– Успокойтесь, батюшка Алексей Федорович, – гово­рил изумленный купец. – Все мы во власти божией, кого захочет защитить он, так защитит. Иона и три дня сидел во чреве китовом, да не погиб!

Алексей не отвечал ни слова, но поворотил сбою ло­шадь назад и пустил ее во весь скак на гору, купец и ка­зак погнались вслед за ним.

– Что вы делаете. Алексей Федорович? – говорил первый, схватив за узду его лошадь.

– Отойди прочь, прочь! Говорю тебе, – кричал Алек­сей. – Я освобожу ее или погибну! Без нее жизнь и смерть для меня равны. Пустите меня!

– Не могу, Алексей Федорович. Вы спасли меня, я должен погибнуть для вас. Делайте что хотите со мной, не пущу! Во-первых, поскакав во всю прыть, вы можете лег­ко здесь сломить себе голову, а во-вторых, можно ли одним вам бороться с целою шайкою, хотя бы вы и нашли разбойников? А их в лесу сам черт не найдет! Доедемте лучше до моего завода, там собьем людей, так это будет дело-то аккуратнее. Я от вас не отстану, рад с вами в огонь и в воду лезть, да все же надо делать с рассудком, а что без толку совать голову в петлю. Пожалуй, они, каторжные, нас укокошат, не поленятся, да ведь еще по­жить хочется. А лучше сделать так, чтобы их, чертей, отправить в тартарары, там их и родина, окаянных!.. Ну поедемте же! Не упрямьтесь, послушайтесь меня, старика, право, хуже не будет. На все бог!

В продолжение сего монолога Алексей несколько успо­коился и, признав справедливыми дельные рассуждения купца, не препятствовал ему заворотить свою лошадь и поехал с ним рядом, сохраняя глубокое молчание, более походившее на бесчувственность. В уме его царствовал совершенный мрак, он сам не мог ясно представить себе, что с ним случилось. Сердце его замерло. Оно было неспособ­но ни к каким чувствованиям, как бы пораженное смерт­ною летаргиею. Так благодетельная природа, пекущаяся о сохранении своего творения, посылает к нему спаситель­ное бесчувствие, когда сильные, разительные удары судь­бы готовы его разрушить!

По переезде через Хамар-Дабан караван должен был снова подняться на длинный и не менее высокий хребет, называемый Гольцы, коего каменная равнина, простираю­щегося верст на двенадцать, обнажена от всякого расте­ния. Здесь почти беспрестанно дует самый холодный, пронзительный ветер, наносящий стужу среди лета, и по­тому снег устанавливается на Гольцах гораздо ранее, нежели на прочих горах. Переезд через сию обширную пустыню в бурную ночь чрезвычайно опасен, ибо легко можно сбиться с дороги. Но нашим путешественникам по­года благоприятствовала: застигшая их на дороге ночь была самая ясная, тихая, можно сказать, самая романти­ческая. Молодая луна, которой весь круг явственно рисо­вался по причине необыкновенной чистоты воздуха, светлела на западе. Вблизи ее, подобно огромному брил­лианту, поверх светло-лилового полога вечерней зари блистала прелестная Венера. С юга смотрел неподвижным взором своим огневидный Юпитер. На севере выходила огромная Медведица, спутница звероловов. С востока восставали блестящие Кичиги. На высоте горизонта горе­ла непостижимая группа миров, странно именуемая в Си­бири Гнездом Утичьим. Наконец все небо подобилось бес­предельному темно-голубому полю, где в блистании вечно горящих огней являлась нескончаемая жизнь, всегда испол­ненная силы, но всегда одинаковая, всегда безмятежная. Смотря на небо, Алексей мало-помалу успокоился, слезы полились из глаз его и облегчили тяжесть гнетущей его скорби.

«Не там ли, – думал он, – не в сих ли обителях вечного света, человек успокаивается от бурь здешней жизни? Не встретим ли там опять любезных нашему сердцу, с которы­ми смерть так безжалостно нас разлучает?.. А, Наталья! О милый друг мой! Увижу ли я тебя еще хотя раз в сем мире? Или ты уже оставила...»

– Смотрите, Алексей Федорович, – вскричал ехавший позади его Неудачин, – не свалитесь в падь! Подтяните повода-то у лошади. Ведь, боже сохрани, если обрушитесь.

В сем месте дорога, быв не белее полутора аршин, шла по боку горы, имея на одной стороне ужасную пропасть, по дну которой протекала весьма быстрая, подобная водопаду речка. Спустившись с горы, путешественники должны были ехать по самой речке, дабы объехать утесы, выехав на бе­рег, очутились на довольно большой Долине и с удивлением смотрели, как огромнейшие гранитные куски, как бы бро­шенные какой-то ужасною силою, лежали в дальнем расстоянии от гор, инда видели они обрушившиеся целые утесы и должны были перебираться через груды камней: все напоминало действие бывшего тут некогда какого-то переворота. Самая коническая форма гор, особенно же остатки лавы, вели к сему заключению, но наши путе­шественники не вдавались и не могли вдаваться ни в ка­кие геологические умствования и думали только о том, как бы скорее достигнуть ночлега. Наконец они доехали до него и остановились также в братской юрте.

Собравшись с силами, Алексей решился подробнее расспросить Неудачина о судьбе Жолобова и Натальи и не спал всю ночь, только перед рассветом забылся почти на одну минуту. Но едва сон начал смыкать его глаза, как вдруг вбежал в юрту бурят с пылающим лицом от гнева. Он схватил висевший в юрте на левой стороне тулуп, вытряхнул из него несколько истуканчиков величиною вершков пяти, вырезанных частью из дерева, частью из войлока, и одного из них, сделанного из бараньей шкуры с ногами и хвостом и с лицом человеческим, начал сечь прутом, приговаривая что-то на братском языке с прибав­лением русской брани:

– Шорт, дьявол, каторжный!

– Что это он делает? – спросил Алексей Неудачина, также проснувшегося при приходе бурята.

– Вишь, сечет своего божка, – отвечал Неудачин. – Знать, худо стерег стадо. Хорошенько его! – говорил он смеясь буряту. – Вперед будет смотреть во все глаза.

В другом расположении духа, вероятно, и сам Алексей также бы засмеялся, но, одержимый горестью, он видел везде одну мрачную сторону и с глубоким сожалением смотрел на действие бурята, как на следствие печальной потери истинных понятий о боге, как на картину заблуж­дения и уничижения рода, человеческого.

Бурят, высекши одного божка, захотел оказать свое благоволение другому. Он выбрал одного из деревянных идолов и, взяв сметаны, вымазал ему губы, а потом, снова собрав всех своих идолов, всыпал их преравнодушно в ту­лун и повесил его на прежнее место.

– Вот так и надо, – говорил Неудачин, продолжая смеяться. – Одного посек, а другого покормил сметанкой. Видно, этот парень исправный.

– Кажется, не очень лестно, – сказал Алексей с улыб­кою, – быть богом у братских: того и жди, что высекут. Как жалки эти люди, имеющие столь нелепое понятие о боге, творце вселенной.

– Боги, которых они наказывают, – отвечал Неуда­чин, – и не творцы вселенной, а подчиненные божки. Деревянные-то называются онгонами, а войлочные – иргекинами. Между ними, вишь, создатель, то есть Тингирн Бурхан, разделил управление мира, а сам и руки опус­тил – ничего не делает: ни добра, ни худа, так что Бурхана не за что ни любить, ни бояться. Черт их знает, откуда они такую ахинею переняли. Живши с ними часто по своим коммерческим делишкам, довольно наслушался я о поганой их вере и насмотрелся на коверканье проклятых шаманов. Кажись, сам дьявол им помогает. Случалось мне, более ради шутки, спрашивать у них о будущем, так ведь как в руку сон положат. Такие окаянные!

– Посмотрите, посмотрите, Алексей Федорович, – сказал поспешно вошедший в юрту казак. – Вон у юрты, что за леском, ломается какая-то сумасшедшая.

– Уж не шаманка ли? За грехи? – спросил Неудачин. – А мы только об этом говорили!

– Приготовляй лошадей, – сказал сухо Алексей каза­ку, не обращая внимания на его слова.

– Что ж, посмотрим, Алексей Федорович, – говорил Неудачин. – По крайней мере вы порассеетесь, а между тем приготовятся к дороге.

– Мне кажется, грешно, – отвечал Алексей, – терять время на подобный вздор.

– Эх, батюшка, надобно мешать дело с бездельем, так на сердце будет полегче. А если все думать о наших безвременьях, то не роди мать на свет. В жизни что шаг, то горе. Зато радость перед горем, а горе перед радостью. Всего лучше полагаться на бога – хоть горюй, хоть не горюй, а то, что угодно его воле, будет... Пойдемте.

Приблизившись к юрте, близ которой около огня кру­жилась шаманка, Алексей был удивлен странным ее ви­дом. Платье на ней было длинное, кожаное, увешанное жестяными идолами, колокольчиками, орлиными когтями, змеиными чучелами, ремешками из невыделанных кож и разного рода металлическими побрякушками. На голове у ней была кожаная шапка, а на ногах унты, то есть ко­жаные чулки – обыкновенная обувь всех сибирских наро­дов. В левой руке держала она бубен, а в правой коло­тушку, обтянутую заячьею кожею для произведения глу­хого звука. Ударяя в бубен, шаманка с величайшим напряжением скакала около огня и через огонь, делала самые странные, самые усильные телодвижения: размахи­вала руками, кривила рот, закатывала зрачки глаз и ревела самым диким голосом. Пот лил с нее градом. Наконец, как бы сделавшись без чувств, она упала на землю. В сие время, по сказанию шаманов, душа их отделяется от тела, посещает преисподних духов и с ними беседует. В течение получаса шаманка находилась в сем роде забвения, нако­нец очнулась и начала провещать неведомое. Буряты, окружавшие свою Питониссу, с величайшим благоговением делали ей разные вопросы и отходили от нее иные с до­вольными, другие с печальными лицами.

– Не загануть ли и нам? – шутя спросил Неудачин Алексея. – Пускай и нам что-нибудь сболтает, по крайней мере недаром смотреть на ее дурачества.

Алексей принял сие предложение с явным отвраще­нием, быв совершенно уверен, что ответы шаманки в са­мом деле не что иное, как обман и невежество, но в то же время чувствовал какое-то непреодолимое желание спро­сить ее о своем жребии. Таково сердце наше, вечно проти­воборствующее с рассудком. Наконец убеждаемый Неудачиным, спросил шаманку: исполнится ли мною желае­мое? Шаманка, устремив на него свои дикие, блуждающие взоры, затряслась всеми членами и по некотором молчании сказала:

– Христианин, сними крест. Он отнимает у меня язык. – Неудачин перевел сие Алексею, который, не пе­реставая считать действие шаманки одним глупым обма­ном, решился исполнить ее требование. После сего ша­манка снова начала бить изо всей силы в свой бубен и коверкаться самым ужасным образом. Сия комико-трагическая сцена продолжалась несколько минут. Наконец ша­манка, вдруг обратясь к Алексею со сверкающими глаза­ми и горевшим от исступления лицом, произнесла на бу­рятском языке диким, но довольно мерным голосом сле­дующий ответ:

– Внимай, христианин, ответ Окодила: *(Окодил – Злой дух.)*

Зверь кровожадный сразится с тобой,

И черная кровь заструится рекой,

И море злодею – могила!

Внимай Окодила ответ:

Там юная дева спасителя ждет,

Там море ярится, и волны там стонут,

Там в бездне кипящей злодеи потонут,

И к деве Спаситель придет!

Вот Окодила ответ:

(Внимай, христианин, и верь нам, шаманам!)

Он гибель нарек вам в удел, христианам, –

И хищным прощения нет!

Губите друг друга, свой род истребляйте,

И кровью заклятой леса обагряйте!

Алексей слушал ответ сей с ужасом и удивлением, ибо не мог изъяснить, каким образом шаманка, видя его в первый раз отроду, узнала о его обстоятельствах. Он бро­сил серебряный рубль к ногам ее и, возвращаясь медлен­ными шагами назад, старался разгадать из ее таинствен­ных слов жребий Натальи.

**ЧАСТЬ II**

**ГЛАВА I**

По южную сторону Байкальских гор открылась нашим путешественникам картина, совершенно различная с пус­тынною и снежною площадью гор. Они проезжали по зе­ленеющейся долине, которая чем далее проходила к югу, тем более расширялась, а горы, как по бокам ее шедшие, так и пересекавшие ее в разных направлениях, понижаясь мало-помалу, превращались, наконец, в холмы, на которых, бродили стада овец и коров, принадлежащих бурятам. Юрты бурятские были разбросаны по всей долине: инда при подошве холма, под тенью рощи, инда средь откры­того поля, на зеленом возвышении, из которого вытекал прозрачный источник. Русских селений на сей долине в сие время еще не было ни одного, впоследствии же выс­троены на ней поселения Снежное, Алсак и другие, при­мечательные потому наиболее, что населены отставными воинами, служившими в Италии под начальством великого Суворова, которого имя до глубокой старости своей они не могли произнести равнодушно.

Сколь ни живописны были места, по которым проезжал Алексей, но он мало обращал на них внимания. Душа его была занята одним: он горел нетерпением скорее доехать до известного завода и потом пуститься отыскивать свою милую и несчастную Наталью. Приближаясь к заводу, дорога проходила сквозь дремучий лес, посреди которого стоял и самый завод. Проехав несколько верст по сему лесу и поднявшись на небольшой пригорок, Алексей уви­дел вдали густой дым, поднимавшийся к облакам.

– Теперь, кажется, слава богу, уже недалеко! – сказал он Неудачину. – Вероятно, это дым варниц?

– Должно быть, так, – отвечал Неудачин с некото­рым недоумением. – Но что-то больно велик. Уж не по­жар ли?

Сказав сие, Неудачин стегнул свою лошадь и поска­кал во всю прыть.

– Стой! – раздался голос из чащи леса.

Неудачин остановился и с удивлением увидел выхо­дящего из леса бледного и трепещущего мальчика, нахо­дившегося у него в услугах.

– Ты зачем здесь?

– Ой, хозяин! У нас в доме беда. Не езди, убьют.

– Что такое? Что ты болтаешь?

– Разбойники, хозяин, разбойники! Я сам едва убе­жал из дому через дыру, знаешь, что на заднем дворе, да через огород, да в лес, а прочих всех перевязали.

– А жена и дочь моя?

– Маремьяну-то Ивановну, слышь, заставили потче­вать, а Пелагея-то Гавриловна, кажись, тоже куда-то спряталась. Хорошенько не знаю. Рабочих, слышь, рас­пустили, а варницы-то запалили. Пламя так чешмя и чешет с дома на дом, что и господи упаси!

Неудачин сколько был привязан к своей жене и доче­ри, но не менее и к своему любимому заведению, которое он, быв страстным охотником строиться, недавно только переделал все снова, хотя и не было в том ни малейшей надобности. Посему с великим огорчением слушал он рас­сказ мальчика об разорении своего любимого заведения и наконец сказал:

– Это шельма Буза, видно, ко мне пожаловал. Да добро ты, каторжной! Ты дорого поплатишься со мною! – Потом, обратясь к мальчику, продолжал: – Послушай, Парфенко! Тебе бояться нечего, у тебя взятки-то гладки, таких, как ты, разбойники не обижают. Ступай же ты назад, домой, по той же дороге, по которой пришел сю­да, сделай это осторожнее, чтобы тебя не приметили, по­том взлезь на сарай и проберись с него на хоромы, раздвинь на них полегоньку драницы, спустись на вышку и, выбрав время, успей переговорить с хозяйкой, чтобы она как можно более старалась угостить дорогих гостей, а я между тем сам приготовлюсь их попотчевать порядком. Понимаешь?

– Понимать-то, понимаю, хозяин, да только страш­но, – отвечал мальчишка, почесывая затылок.

– Что тут за страх. Я сказал уже тебе, что таких, как ты, разбойники не обижают. Ступай! Я знаю, ты парень-плут! И коли путем исполнишь все, что я прика­зывал, то я дам тебе целый рубль на орехи. Ступай же проворнее, да будь осторожнее.

В продолжение сего разговора подъехал Алексей. Не­удачин, рассказав ему о происходящем в заводе, равно и о своем намерении напасть врасплох на разбойников, прибавил к сему:

– Теперь нам одно средство: съездить в улусы брат­ских, выпросить у тайши несколько человек и с ними нагрянуть на мошенников. Поезжайте вот этою тропин­кою и подождите меня на холме у избушки, где стоит бурятский божок, а я взгляну только издалека, что творится у меня дома, да и вернусь немедля.

Алексей, услышав о разбойниках, вспыхнул от гнева.

– Я еду вместе с вами, – говорил он Неудачину, – Я готов один напасть на этих злодеев.

– Не горячитесь, батюшка Алексей Федорович, не горячитесь. С горячкою все дело испортите! Одного-то меня они не скоро заметят, а вдвоем, пожалуй, и попа­дешься им на глаза. Они, дьяволы, уходят нас как пить дадут.

Уговорив Алексея, Неудачин въехал в лес, привязал там лошадь, снял с плеч винтовку, зарядил ее медвежьего пулею и потом начал пробираться к заводу. В самом близком расстоянии от оного находился небольшой холм, с которого совершенно было видно и даже слышно, что делалось в хоромах заводчика. На сем холме притаился Неудачин за толстою сосною. Ужасное пламя носилось над заводскими строениями. Иные из варниц пылали со всею силою, и пламя, подобно водопаду, обращенному вверх, с шумом и треском лилось из всех отверстий, дру­гие уже догорали, превращаясь в уголь, и только изред­ка обваливавшиеся балки и стены возрождали вновь пла­мя и рассыпали миллионы искр. Восстающий ветер раз­носил их по всем рабочим хижинам, из коих многие так­же пылали, а у других загорались кровли. Нельзя было думать о потушении, ибо многие из рабочих, быв из числа ссыльных, разбежались, пользуясь благоприятным слу­чаем, а оставшиеся лежали связанными на хозяйском дворе под стражею разбойника, ходившего около них с винтовкою. По сей причине все было в ужасе и смяте­нии. Женщины с грудными младенцами на руках с воп­лем искали спасения в лесу, дряхлые старики и старухи, едва успевая выбраться из пылающих домов и дотащить­ся до безопасного места, с горестью обращались назад и смотрели на разрушение своих пепелищ. Весь лес был наполнен криком ребят и рыданиями женщин.

Посреди сей картины разорения и бедствия торжест­вовали одни разбойники, как злые духи, радующиеся злоключениям, постигающим род человеческий. Они си­дели полупьяные на переходах Заводчиковых хором, во­круг стола, уставленного сулеями. На лицах их изобра­жалась буйная, отчаянная радость. Атаман сидел в глав­ном месте, отличаясь гигантским ростом. Он имел лет сорок от роду и, казалось, от природы был одарен физиономиею красивою и умною, но бурные страсти, дикая жизнь и кровавое ремесло сделали ее зверскою и ужас­ною. По-видимому, он старался предаваться буйному ве­селью и пил более прочих, но был пьян менее своих то­варищей и, казалось, не мог запить смертельной тоски, грызшей его сердце и пробивавшейся сквозь его зверские черты.

– Вина, хозяйка, вина! – кричал он. – Ну, пошеве­ливайся! Живее! Эй ты, Якимша, затягивай веселую. Ну, ребята, закатывайте! Живо!

Разбойники еще осушили по стакану вина, и страш­ная песня их, заглушаемая шумом пламени и воплями бегущих жителей, огласила удушливый воздух.

Яким:

Мы не воры, мы не воры, не разбойнички.

Государевы крестьяне, рыболовнички!

А мы неводы кидали по амбарам, по клетям.

По амбарам, по клетям, по высоким чердакам.

Все:

Ай да усы!

Ай да усы – удалые молодцы!

Яким:

А вы полем-то идите – не гаркайте!

А вы лесом-то идите – не шумаркайте!..

– Послушай-ка, Яким, – сказал атаман, – мне вспа­ла на ум моя любимая, ну знаешь:

Ах ты, молодость, моя, молодость!

Ты куда прошла, прокатилася?

– Эх, атаман, надоел ты мне с этой нюней. Ну что в ней толку? Ведь мы не бабы!

– Смерть и кровь! – вскричал атаман, ударив изо всей силы стаканом по столу. – Пой или я тебе размоз­жу голову, как этот стакан!

Испугавшийся разбойник затянул приказанную пес­ню. Слушая ее, атаман закрыл глаза и как будто на ми­нуту забылся, но вдруг потом, вскочив на ноги, страшно поглядел вокруг себя и, поведя по глазам рукою, сказал шепотом:

– Ужасная тень. Ты опять явилась... Вина! Давайте мне вина! Хозяйка, вина!.. Да поднеси вон караульному. У него, чай, давно пересохло в горле.

– Ну что, хозяйка, – говорил караульный разбой­ник, принимаясь за стакан, – рада ли гостям?

В сие время послышался шум на заднем дворе. Маль­чик, которого послал Неудачин, едва взлез на сарай, как ветхая крыша под ним проломилась, и он упал вместе с досками во внутренность сарая. Больно ушибся он, но ему было не до боли, ибо смерть висела, как говорится, у него на роду. Он немедленно соскочил с сарая во двор и влез в собачью конуру. Шум, произведенный им, был услышан караульным.

– Атаман! – вскричал он. – Кто-то ходит по кров­ле на заднем дворе!

Немедленно пение было прервано, и разбойники бро­сились обыскивать сарай. К несчастию, там, зарывшись в сено, скрывалась дочь Неудачина. Долго искали разбой­ники, но безуспешно.

– Да что тут много хлопотать, – сказал один из них. – Ребята, зажжемте сарай, так и дело с концом. За­хочет, так выползет.

Пелагея слышала сии слова и решилась лучше уме­реть, нежели выйти. Но когда пламя побежало по сену, весь сарай наполнился дымом и начало захватывать у несчастной дыхание, когда жар пламени начал пожигать ее и оставалось несколько секунд, по прошествии кото­рых вспыхнуло бы ее платье и смерть была бы уже не­избежна, в сию ужасную минуту непостижимая любовь к бытию превозмогла над желанием смерти, и Пелагея в помешательстве и исступлении выбежала из сарая.

– А! Милости просим! – с зверским хохотом го­ворили разбойники, схватив несчастную. – Что? Знать, банька-то не по тебе? Жарконька немного?

– Не троньте меня, злодеи! – кричала исступлен­ная. – Отойдите от меня, изверги!

– Вишь, какая прыткая. Да от нас не отбояришься. Мы спесь-то разом собьем!.. Ну-ка, ребята, тащите ее к атаману.

Несмотря на усиленное сопротивление бедной девуш­ки, разбойники притащили ее на переходы. Атаман, уви­дев ее, уставил на нее с каким-то ужасом большие глаза свои, но потом, махнув рукою, сказал про себя:

– Ну все равно: умереть так умереть. Было пожито.

Едва успел он сие выговорить, как несчастная мать Пелагеи бросилась пред ним на колени

– Отец родной! – вопила она. – Возьми что хо­чешь, отдам все последнее. Вот там, в огороде, закопан ящичек с золотом – сама покажу место, сама руками от­дам, хоть бы после привелось идти по миру, жизни не пожалею: возьми и жизнь, убей меня, но не трогай моей дочери! Умоляю тебя, как бога! Бог накажет тебя, если ты не сжалишься над матерью! – Она повалилась в но­ги разбойнику и, рыдая, обнимала его колени.

– Полно болтать, старуха! – сказал бесчувственный атаман. – Оттащите ее, а в огороде обыскать!

– Ну-ка, голубушка, – говорил он, обратясь к Пе­лагее, – полно дурь-то накидывать на себя. Мы люди до­брые. Покороче узнаешь нас, так самой полюбится... Ну же, не упрямься, поцелуй меня... Ну, коли добром не хо­чешь, так у нас ведь поцелуешь и нехотя.

Он схватил Пелагею насильно в свои объятия.

– Проклинаю тебя, злодей! – произнесла страшным голосом отчаянная мать и упала без чувств.

В то же мгновение со свистом пронеслась пуля и, ра­нив в руку атамана, ударила в грудь бедной девушки. Пораженный удивлением и страхом, атаман опустил ее из своих рук. Упав на пол, она пришла в себя, почувство­вала близость смерти, перекрестилась, взглянула на не­бо – и испустила дух. Не смертные конвульсии, но улыб­ка невинности и райская радость изобразились на ее младенческом лице:

– Атаман, берегись! – закричал караульный. – Стреляют!

Но разбойники, как бы не слыхав сего предостере­жения, стояли в мертвом оцепенении вокруг умирающей. Снова раздался удар, и вторая пуля, мелькнув пред са­мыми глазами атамана, влепилась в стену. Все это про­исходило в течение, так сказать, одного мгновения. Атаман первый обернулся на сторону выстрела и, схватив винтовку, захохотал адским смехом:

– Ха-ха-ха! Это сам хозяин угощает нас. Все за мной! Ловите мошенника!

Читатель, конечно, и прежде сих слов знал уже, что выстрелы были произведены пришедшим в отчаяние Неудачиным. Увидев дочь свою в объятиях разбойника, он с яростью выскочил из-за дерева и выстрелил в него из винтовки.

– Врешь, собака! – кричал он, опуская курок. – Она рождена не для тебя!

Но когда пуля, пощадив разбойника, сразила несчаст­ную девушку, он задрожал от ужаса, однако ж скоро оправился и вновь с поспешностью зарядил ружье.

– Так, теперь твоя очередь, кровопийца! – вопил раздраженный отец, направляя удар. Трепещущие от гне­ва и неизъяснимого огорчения руки вновь изменили ему, и адский хохот атамана поразил его слух.

– Не радуйся, злодей, – произнес он с твердостью. – Рано или поздно, но ты еще увидишь меня. – После сего он скрылся в лесу. Выстрелы посыпались вслед за ним, но провидение сохранило злополучного и оскорбленного отца для праведной мести.

Алексей, ожидая Неудачина, сидел на траве близ гранитного столба, неизвестно кем поставленного вблизи озера, называемого Гусиным. Столб сей имеет сажени две в вышину, на верхней оконечности его высечено вы­пуклое лицо человеческое, а по бокам также высечены украшения. Смотря на сей памятник какого-то забыто­го племени, Алексей невольно задумался. В уме его жи­во изобразилась сия непреоборимая сила времени, кото­рая увлекает за собою с лица земли целые народы и царства, и самые имена их похищает у изумленного по­томства. «Что же я, – думал он, – что значу я при сем общем потоке разрушения и ничтожества? Что моя ми­нутная жизнь, когда тысячелетняя жизнь целых поколе­ний свивается, наконец, в одно мгновение и исчезает в вечности?»

Погружаясь в подобные размышления, Алексей услы­шал топот лошади и, выйдя из задумчивости, увидел ска­чущего во всю прыть Неудачина. Подъехав к столбу, Неудачин едва мог слезть с коня и от изнеможения упал на землю.

– Боже мой, как вы расстроены, – сказал ему Алек­сей.

– Как не расстроиться, батюшка Алексей Федоро­вич, – отвечал Неудачин едва слышным голосом. – Все­го лишился. Жена и дочь погибли, имение разграблено, и завод не пощадили, каторжные. Ах, как не быть расстроену, батюшка Алексей Федорович!

Долго Неудачин не мог успокоиться, наконец не­сколько пришел в себя, рассказал Алексею с большими по причине крайней слабости расстановками о происшест­виях на заводе. Трудно описать то чувство, с каким Алек­сей слушал сей рассказ: сердце его кипело местью и не­годованием, все черты его лица заменялись соответствен­но рассказу: то бледность, то краска выступали попеременно. Но когда повествование дошло до Пелагеи, то Алексей не мог более слушать, вообразив участь Ната­льи.

– Ах, перестаньте! – вскричал он. – Ужасно! Ужа­сно!.. Лошадей! Лошадей!

Неудачин также хотел встать, дабы пуститься в доро­гу, но обессилел и снова упал на траву.

– Поезжайте, Алексей Федорович, – говорил он. – Отмщайте за себя и за меня. Я, если оправлюсь, догоню вас, а если нет, так буди воля господня. Теперь мне жа­леть не о чем: все пропало!.. Ох, тяжело! – Он схватил рукою за голову и закрыл глаза.

Алексей, видя Неудачина в сем жалостном состоя­нии, решился остаться с ним и дожидаться утра, надеясь, что благодетельный сон подкрепит сколько-нибудь рас­слабленные силы его несчастного сопутника.

**ГЛАВА II**

Многие тысячи братских собрались для торжествования осеннего праздника (Санге-Гаара) к Гусиному озеру, где искони было главное стойбище селенгинского рода. Местоположение благоприятствовало сему празд­нику: необозримая, холмистая равнина окружала озеро со всех сторон. По принятии селенгинскими братскими веры ламайской после сего озера выстроены большие ку­мирни, или храмы, но в описываемое нами время селенгинский род держался еще веры шаманской. Шаман в одежде почти такой же, какую мы описали выше при рассказе о шаманке, стоял с бубном на жертвенном мес­те, то есть возвышении, устроенном из досок, под откры­тым небом. Бесчисленные толпы народа в благоговейном молчании стояли кругом него. Шаман, устремив на вос­ток неподвижные взоры, казалось, ожидал первых лучей солнца. Наконец золотой край его показался из-за сине­ющих в отдаленности гор – шаман ударил в бубен, и весь народ упал ниц. Долго глухой звук бубна раздавал­ся посреди общего молчания. Потом шаман, полагая, что боги уже должны услышать его, начал молитву, и все со­брание, поднявшись на ноги, после каждого отделения молитвы провозглашало: Го (услыши)! Гегеа (помоги, умилосердись)! Шаман же произносил следующее:

– О Бурхан и Окодил! Вы, Иргекины, Онгоны, Но­гаты, боги и великие духи, добрые и злые, обитающие в горах и лесах, в воде и преисподней. Пошлите нам здра­вие, предохраните нас от падения с горы, от потопления в воде. Наделите нас детьми и скотом, дичью и рыбами, чаем и одеждою!

Ты, о солнце! Дай нам погоду ведреную и ясную, да­бы мы могли с успехом заниматься звериными промыс­лами!

Вы, святые души шаманов! Не откажите нам в вашей помощи и защите от всякой опасности, видимой и неви­димой!

В знак усердия нашего приносим вам, о боги и духи, в жертву двадцать лошадей, пятьдесят коров и по сто овец и коз.

По окончании сей молитвы подвели к шаману обре­ченных, и он начал поражать их ножом в грудь: кровь полилась рекою по жертвенному месту.

«Какая ложная и зверская идея о боге», – подумал Алексей, с нетерпением ожидавший конца жертвоприно­шению, дабы потом переговорить с тайшою. Наконец жертвоприношение кончилось. Кожи были развешаны на шестах около юрт, а мясо частью было положено в кот­лы, частью изжарено на деревянных спицах. По приго­товлении пищи народ расселся кучами по полю, и жертвенное мясо начали разносить в корытах. Алексей с от­вращением смотрел на жадность и чрезвычайную неоп­рятность, какую оказывали буряты при сем случае. Ко­рыта были вовсе не мыты и совершенно грязные. Едоки хватали из них по большому куску, выдергивали с пояса ножик и, взявши один край мяса в руку, а другой в зу­бы, обрезывали его вверх острием так, что без особенной привычки могли бы отрезать себе нос. В продолжение еды простой народ пил из чугунных кувшинов (танхи) свое молочное вино, или тарасун, а тайша, сидя особен­ным кружком с зайсанами и шуленьгами, пользовался преимущественно пред всеми вином хлебным и водкою. Женщины, как нечистые по закону шаманскому, сидели также особенными кружками. Одежда мужчин состояла из шубы: у бедных – нагольной овчинной, а у бога­тых – лисьей, покрытой сукном, наконец, у самого тайши – также лисьей, покрытой штофом. На голове у всех были красные суконные шапки, похожие на китайские, а на ногах унты, о которых мы уже упоминали выше. Жен­ский наряд состоял из длинного платья, у иных суконного, а у других шелкового, опушенного мехом и подпоясанного шелковым поясом. Шапки, равно и обувь, были такие же, как у мужчин. Шея и грудь были украшены ширинками, сделанными из корольков. По плечам лежа­ли длинные черные косы, в которые для увеличения их толстоты были вплетены конские волосы. Лица, вообще, как у мужчин, так и у женщин, отличались темным, за­горелым цветом и имели плоские носы, узкие глаза и большие скулы. К окончанию обеда, когда тарасун раз­горячил кровь пирующих, мужчины спустили с плеч шу­бы и открыли свое загорелое и закоптелое тело, ибо ру­башек буряты не носят. После обеда разнесли в ушатах, столь же «опрятных», как и корыта, карымский чай. По­том начались разные игры: борьба, беганье, стреляние из луков, в котором забайкальские буряты столь искус­ны, что, пустив кверху одну стрелу другою перешибают ее на лету. Одним словом, сей праздник племени, отстав­шего от общего течения понятий в странах образованных, отодвигал зрителя к тем простодушным векам, когда, го­ворят, цари запросто убивали сами быков и когда герои, стараясь съесть более других, поставляли в том свою славу.

Но Алексей и Неудачин, не читавшие Гомера, почти не обращали ни на что внимания и думали только о ско­рейшем отъезде, однако ж по необходимости должны бы­ли оставаться до вечера, ибо тайша не захотел никого из своих подчиненных лишить участия в празднестве. Впро­чем, он принял их с обыкновенным бурятским радушием и велел заколоть для них нарочно барана, что обыкно­венно делают и ныне буряты в случае приезда почтен­ного или любимого гостя. Наконец, когда игры кончи­лись, то по наряду тайши явились к Алексею человек двадцать отборных стрелков, и он отправился с ними в путь.

В сие время имя Бузы гремело за Байкалом. Шайка его состояла из большого числа разбойников, и многие отряды из оной грабили в разных местах. Ни земская, ни градская полиция, получившая настоящее бытие свое со времени издания «Учреждения о губерниях», тогда не была еще устроена. Защиты от грабителей нигде не бы­ло; даже мимо Иркутска они проезжали с песнями днем на лодках, одетые в канфенных и штофных куртках и шароварах, вооруженные винтовками и пистолетами. Всег­дашнее становище Бузы было на берегу Байкала, а глав­ный грабеж – на купеческих судах, переезжавших через Байкал. Человек двенадцать новых норманнов приплы­вали по волнам на маленькой лодке к судну, наполненно­му людьми, и мгновенно на него вскакивали. Громовое «Сарынь на кичку», то есть не шевелись с места, раз­давалось на судне, и весь экипаж, несмотря на свое пре­восходство, внезапно приходил в оцепенение и падал ниц. Тогда пираты разбирали товары и брали из них, что хо­тели.

Буза, хотя и имел становище на берегу Байкала, как сказано выше, но настоящее место оного не было нико­му известно; и, сверх того, разбойники кроме главного пристанища имели еще несколько пристаней, дабы удоб­нее скрываться от преследования. По сей причине Алек­сей и Неудачин, не зная наверно, куда пуститься, реши­лись прежде заехать в завод и потом расспросить тамош­них жителей, как ехать по следам разбойников. Нельзя описать всей картины беспорядка и разрушения, какую они нашли в заводе. Дом заводчика сгорел вместе с те­лом его дочери; жена его, пришедшая в память по отъез­де разбойников, также едва избежала пламени и лежала в горячке, происшедшей от чрезвычайного потрясения души и сильной горести, Неудачин, сколь ни был чужд нежных чувствований, однако ж, свидевшись со своею женою, залился слезами.

– Так-то, Ивановна! – говорил он, растрогавшись. – Мы теперь все потеряли! Бедная Палашенька!..

– На кого пенять станешь, Васильевич. Бог даде, бог и отья!

– И завод мой на воздух взлетел. А денежка была истинно трудовая, и сколько было приложено тут моих стараний!..

– Уж и чересчур, Васильевич, – подхватила жена, всегда восстававшая против страсти его к постройкам и потому не могшая и в сем случае, несмотря на свою бо­лезнь, удержаться от иронии.

– Эх, жена! Ты все порешь старое, – говорил Не­удачин. – Скажи-ка лучше: не слыхала ли ты, в кото­рую они, варнаки, поехали?

– Где же слышать. До того ли мне было. Ведь и те­перь у меня головушка-то чан-чаном. Спроси Парфенку. Он что-то болтал, да мне было не до него... О-о-ох!

– Хозяин, – сказал вбежавший в избу Парфенко, – насилу тебя дождался. Ведь я одного вора изловил.

– Как так? – спросил с поспешностью Неудачин.

– Да так. Натрескавшись вина, он заснул на заднем дворе у сарая, а я и вижу это из собачьей конуры. Вот как все затихло, а мне уж было невмочь лежать, потому что сарай так и пышет огнем, я и вылез. Глядь, никого в доме разбойников нет, а у этого дьявола уж зипун го­реть начал. Я сыскал веревку, скрутил ему руки да и вы­тащил его на улицу. Наши ребята хотели тут же угомо­нить его, но я уговорил их: хозяин, дескать, авось нагря­нет с братскими, так было бы у кого спросить о их разбойничьей пристани.

– Ну спасибо те, Парфенко. Я уж сказал, что ты парень-плут. На же обещанный рублевик: хоть тебе не удалось одного, так другое дело сделал не хуже. Ай да Парфенко!

Полуобгорелого и едва живого разбойника посадили на лошадь с братским, который должен был его поддер­живать, а двое других ехали с винтовками по сторонам.

– Смотрите, ребята, – говорил им Неудачин, – если, паче чаяния, этот окаянный (ведь они живучи, как кошки) вздумает вспрыгнуть, так тут ему и карачун.

– Ладно, бачка, – отвечали буряты, сняв шапки, – ладно!

– Ну, вперед! Мы за вами!

Выехав на роскошную водами реку Селенгу, пресле­дователи ехали по указанию разбойника по левому ее бе­регу, еще зеленевшемуся, несмотря на осень. Во множе­стве встречались им трудолюбивые и веселые рыболовы, промышлявшие омулей, рыбу, подобную сельдям, кото­рая в осеннее время миллионами входит в Селенгу из Байкала и доставляет пищу целой Иркутской губернии. Оставив на правой стороне Верхнеудинск и проехав от него верст сорок до небольшой речки Итанцы, наши ге­рои, простясь с Селенгою, продолжали путь вверх по сей реке. Тут картина совсем переменилась: вместо пло­доносных лугов и тучных пажитей, где разгуливали сы­ны степей – величавые верблюды, наступили дремучие леса, ужасные топи и высокие горы: естественная держава хищных зверей и разбойников. Дикий вид природы навел некоторый страх на всех преследователей.

– Теперь, ребята, осторожнее, – сказал Неудачин. – А ты, каторжный, смотри не заведи нас в какой-нибудь омут: так первый увязнешь в нем!

– Не бойсь! – прохрипел умирающим голосом раз­бойник.

– Не лучше ли нам остановиться здесь на несколько часов, – сказал Алексей, – чтобы дать время отдох­нуть разбойнику, а иначе он может замучиться.

– Так что за дело, – отвечал Неудачин. – Черт с ним! Мой завод стоил...

– Хорошо! Но кто же тогда покажет нам дорогу?

– И то правда!

Место, где остановились преследователи, находилось на берегу обширного озера, поросшего травой и походив­шего более на болото. На другой стороне оного была вы­сокая каменистая и почти безлесная гора, шедшая по бе­регу его с севера на юг и с половины озера поворачи­вавшаяся на восток. На сем повороте примыкался к ней дремучий лес, окружавший озеро со всех сторон; исключая гористой. Поперек озера до горы было не более са­жен ста, а объезд с боков, по опушке леса, простирался на несколько верст. Остановившись на сем месте, путе­шественники расклали огонь, сварили пельменей и карымского чаю и расположились ужинать, оставя разбой­ника, как больного и слабого, без особенного при­смотра.

– Нате-ка вам, ребята, – сказал Неудачин бурятам, – булку. Делите как умеете!

– Спасибо, бачка, – отвечали буряты и с полным радушием и согласием разделили булку на маленькие кусочки.

– Вот настоящий братский дележ, – сказал Алек­сей Неудачину.

– Да, они всегда таковы. Один у них не съест крош­ки, чтобы не поделиться с другим. Не так, как у нас, у русских. Оттого они, говорят, и братскими названы.

Между тем закатывавшееся солнце осветило гору, Ги­гантские тени дерев протягивались по ее отлогости. На утесистой вершине горы стояла высокая человеческая фигура, опершаяся на лук. Лицо ее неподвижно было устрем­лено на сторону заката. Длинные волосы ее развевались по ветру. Разводя правою рукою, она пела какую-то бу­рятскую песню, которой унылые звуки изредка долетали до наших путешественников.

Алексей и Неудачин с большим вниманием рассматри­вали сие явление, прислушиваясь к пению, а товарищи их усердно управлялись с чаем и пельменями: В сие время разбойник, потихоньку подвигаясь к озеру, вдруг вскочил на ноги и вспрыгнул в воду.

– Ах он окаянный! – вскричал Неудачин. – Да он прикидывался! Ловите! Стреляйте!

Братские схватили свои винтовки и луки, встали на берег и прицелились, ожидая мгновения, когда разбойник высунет из воды голову. Но он долго не переводил духу и, доплывая нырком до густой травы, показался совсем не в том месте, где его ожидали.

– Стреляй! – вскричал Неудачин.

Но разбойник снова скрылся с величайшей скоростью, и наудачу произведенный залп, не имев никакого успеха, только огласил пустыню. Грохот раздался по горе и вы­вел неизвестного, стоявшего на ней, из задумчивости. Он схватил что-то круглое, лежавшее у его ног и, с поспешностью спустившись с горы, стал на берегу болота.

– Это, кажется, та шаманка, – сказал с изумлением Алексей, – которую мы видели.

– Да, кажись, она, – отвечал Неудачин. – Ведь они, окаянные, везде шатаются.

Между тем разбойник добирался уже до противополож­ного берега и вышел из выстрелов.

– Эй ты, колдунья! – кричал он, остановившись в недальном расстоянии от берега на отмели и уставши от сильного напряжения. – Спихни-ка ко мне поскорее лодку, знаешь, что лежит в лесу за этою березою.

– Ладно, спихну, – ответствовала шаманка, приготов­ляя лук. – Только дай прежде попробовать, не совсем ли ослабели мои руки.

– Злодейка, ты с ума сошла! Что я тебе сделал?

– Ты? Ты не сделал мне ничего, но все сделали твои товарищи! Всех вас равно ненавижу я и всех обрекла на смерть! Ты первый попался мне под стрелу, будет очередь и другим! Пропадай же, отрасль проклятого дерева!

Она натянула лук со всею силою и направила удар в голову разбойника. Пораженный стрелою, он упал навз­ничь, и только высунувшееся из воды и колебавшееся древко показывало место, где лежал убитый. Шаманка захо­хотала с злобною радостью и запела диким голосом:

Исполнись обет Окодила:

Лейся нечистая кровь,

И гибни проклятая сила!

После сего шаманка вытащила из лесу небольшой стружок, спихнула его па воду и начала переплывать на другую сторону, выдернув по пути стрелу, торчавшую из воды. Алексей и Неудачин, быв поражены сим происшест­вием, глядели на нее с изумлением.

– Послушайте вы, христиане, – сказала шаманка, вый­дя на берег и держа в руке окровавленную стрелу. – Ваш бог вам ничего не сказывает, а наши боги шаманам отк­рывают все. Я убила этою стрелою разбойника, потому что Окодил мне повелел убить его. Если бы остался он жив, то зверь, за которым вы гонитесь, ушел бы от вас, а теперь он не уйдет. Верьте мне и идите за мною!

– Экие дьяволы, – шептал Неудачин Алексею. – Сам черт, видно, им все рассказывает.

Потом, обратясь к шаманке, Неудачин продолжал:

– Спасибо тебе, что помогла нам уходить мошенника. Да если и вперед послужишь хорошенько, так не будешь раскаиваться: плату получишь добрую.

– Ты лжешь, христианин, – отвечала с гневом Сивил­ла. – Шаманка платы не возьмет. Ей надобна кровь!

– Ну, полно сердиться, – сказал Неудачин, сохраняя по наружности спокойствие и смущаясь внутренне суеверным страхом. – Ведь кровь не тарасун, с нее не будешь пьяна.

Шаманка не отвечала ни слова и, ударяя в бубен, пош­ла быстрыми шагами по опушке леса. Все двинулись за нею.

Обойдя озеро с правой стороны, преследователи шли по подошве горы. По прошествии нескольких верст шаман­ка остановилась. Странное явление представилось глазам наших героев. Гора на сем месте была чрезвычайно крута. На вершине ее был виден огромный медведь, который, таская большие камни, спускал их под гору, и камни лете­ли вниз с ужасным стремлением и треском. Гул от паде­ния их раздавался по окрестности. Подойдя ближе к сему месту, путешественники с ужасом увидели спящего, никогда не виданного ими огромного зверя и в недальнем рас­стоянии от него притаившегося за деревом зверолова. Сей зверолов имел при себе винтовку и лук, но решился упот­ребить последний. Он заложил на него две стрелы и, на­тянув лук с невероятною силою, пустил их в зверя. Стре­лы со свистом взвились с тетивы и прошили насквозь его, с одного бока на другой. Зверь с ревом прискочил почти на сажень кверху и пал мертвый. Но зверолов, еще не веря, что он уже издох, подошел к нему ближе и выст­релил в него из винтовки. Тогда приблизились к нему наши путешественники.

– Что это? – сказал с удивлением ехавший с Алексеем казак. – Сергей Громило! Да какими, брат, судьбами ты здесь явился?

– Ведь знаешь, что наше дело служебное, – отвечал Громило. – Где велят, тут и будешь служить. Только теперь мне рассказывать некогда, видишь, какое чудо уда­лось мне подстрелить. Пособи-ка лучше снять с него кожу.

– Уж подлинно чудо, – говорил казак, подсобляя Гро­миле. – Этакова зверя я отродясь не видывал. А что, брат, отправь-ка кожу к государыне, так знаешь!..

– А что, и в самом деле. Ведь мой дед получил за эта­кова зверя от батюшки Алексея Михайловича серебряный ковш, еще и теперь он хранится у моей матери. Рассказы­вая мне об этом, она называла зверя... кажись... барсом.

– Ну, брат, исполать тебе, – сказал подошедший к Громиле Неудачин. – Нечего сказать, молодец. Но послу­шай, коли ты не побоялся напасть на такого страшного зверя, так, верно, не откажешься идти с нами и на другого?

Громило с удивлением устремил глаза на Неудачина. Но когда сей последний объяснил, о каком звере говорил он, то, прельщаясь, может быть, возможною добычею при разбитии разбойников, Громило согласился участвовать в деле преследования.

**ГЛАВА III**

Высокая гора проходила по берегу Байкала. Берег сей, между озером и горою, был так узок, что едва только можно было по нему пробираться на верховой лошади, и во время сильных волнений затопляло водою. Выехав с юга на озеро и потом поворотив по сему берегу с запада на восток, можно было проехать верст с двадцать, далее гора превращалась в совершенный утес, выдававшийся в море и обмываемый морскими волнами. Близ вершины сего утеса был уступ, на который вилась по отлогости горы едва за­метная тропинка, столь крутая, что один человек, стояв­ший на уступе, мог бы защищаться от целой армии. При подошве горы находилась пещера, куда разбойники заво­дили своих лошадей и прятали лодки и добычи, заставляя вход огромным камнем и заваливая хворостом, а на верху уступа была небольшая площадка, на которой стояла их хижина, придвинутая к боку утеса, над нею нависшему. Подле дверей хижины был поставлен большой стол и вок­руг него скамьи, а недалеко от них разведен огонь, над которым висел огромный котел. Человек с двадцать разбойников, находившихся на площадке, были в раз­ных положениях: иные сидели около стола, другие лежали с трубками во рту около огня; некоторые спали на войло­ках около хижины; многие, наконец, собравшись в кружок, хохотали, глядя на братскую женщину, с дикой радостью скакавшую под звуки бубна и напевавшую какую-то весе­лую песню. Атаман, угрюмый и неприступный, стоял на краю утеса и пристально смотрел вдаль. День вечерел, и закат затягивался черною тучею, сливаясь с синевою про­тивоположных гор. Погода была ясная, но свежий осен­ний ветер начинал дуть с запада, и седые валы, ряд за рядом, побежали по необозримой равнине моря.

– Ну, батюшка култук поднимается, – заметил один из разбойников.

– Да, брат, того и смотри, что ударит горная, – прервал другой.

– Ребята, – сказал атаман, обратившись к разбой­никам. – Быть осторожнее. Зарядите ружьями пересмот­рите кремни. Ночь будет темная и бурная: недаром галки закружились над морем и разыгрались тюлени.

– Нам нечего готовиться, – отвечал один из разбойников, сидевших около огня, – мы всегда рады гостям. Милости просим!

– Ах, братцы, – говорил другой, – вот буря-то была ономеднись, как разбило нашу лодку. Такой я никогда не видывал, не раз, кажись, переезжал с товарами через озеро, когда занимался извозом.

– Через озеро, – подхватил третий. – Видно, тебе еще худо досталось. Разве не знаешь, что Байкал называется Святое море. Смотри, еще не то будет. Не нырни и сам на дно!

– Что ж за беда. Нырну так нырну, – отвечал бывший извозчик. – Не я первый, не я последний. Другие бы­ли не хуже меня, да пошли искать грибов между подвод­ных сосен.

– Странно, братцы, – сказал четвертый разбойник. – Как там выросли эти сосны? Ведь взглянешь вниз, так, кажись, сажен сто глубины, словно какой провал подле самого утеса, а на дне деревья. Чудо, подумаешь.

– Эх, брат, – подхватил пятый, – у бога ведь чудес много. Всего не растолкуешь. Ну, вот хоть это скажи... Чай, тебе и самому случалось замечать? Отчего, когда сильный ветер, так валы меньше, а когда ветер меньше, так валы больше?

– А мне случалось видеть, – говорил шестой разбой­ник, – что иногда совершенная тишь, около берегов не колыхнет, а посредине моря волны так и ходят, словно полоса какая.

– Нет, вот что скажите, – подхватил седьмой, – куда вода девается? Ведь шутка ли, сколько рек, больших и маленьких, впадают в это море, а вытекает-то из него, ка­жись, одна Ангара, да и та, брат, ведь ужасть как мелка в верховье.

– Так зато быстра, – прервал извозчик. – Случилось мне тянуть карбаса вверх по ней, так мученье, да и толь­ко.

– Да хоть как ни быстра, – сказал прежний, – а все- таки все воды выпить не может. Помнишь, года с два на­зад, как вдруг прибыло море. Хорошо, что бог поставил на Ангаре ворота-то крепкие да высокие, а то бы, братцы, Иркутску тогда не сдобровать.

В продолжение сего разговора разбойник, отправляв­ший должность повара, с помощью другого снял с огня кипевший котел и поставил его подле стола. Потом вынес из избы большие деревянные чашки, разлил в них щи, нарезал большие ломти хлеба, расклал ложки, расставил сули с вином и оловянные кружки и начал сзывать всех на ужин. Разбойники сели за стол. Один атаман, как бы не слыхав призыва, не переставал смотреть на даль моря.

– Правда твоя, Яким, – сказал потихоньку один из них своему товарищу. – Атаман стал у нас сущею бабою: хмурится да морщится.

– Да черт его связал, – отвечал Яким, – с этою прок­лятою шаманкою. Она, слышь, все напевает ему такую ахинею, что уши вянут. Давно я говорил ему, чтобы ей камень на шею да в воду, так нет-ста, не решается; и так, дескать, на душе моей много крови.

– Да расскажи, брат, с чего она привязалась к нам? Давно я тебя хотел спросить об этом.

– И я, брат, хорошенько не знаю: ведь я почти такой же новичок здесь, как и ты. Болтают, что с десяти лет до осьмнадцати жила она у русских в услугах. Тут какому-то глупому дьячку пришла охота выучить ее и русской грамо­те. Дьячок, слышь, хотел окрестить ее в нашу веру да на­думал на ней жениться. Дело было совсем слажено, и она (знать, за благословеньем или за другим чем, провал ее знает!) вздумала приехать к отцу, как на эту пору нагря­нет вдруг наш атаман с шайкою да и благословил ее по-своему. Отца-то с матерью немного покоптили на огне, так что они тут же и ноги протянули, а дочку-то увезли с собою. Лет с десять, сказывают, таскали ее с шайкою; напос­ледок она состарилась, рехнулась в уме да и попала черту в лапы – сделалась колдуньею. Вот тебе и вся сказка.

– Так не вздумал ли атаман, как говорят, спустя ле­то, да в лес по малину – жалеть об поганом ее отце и матери?

– Дело статошное.

– Ха-ха-ха! Да разве в этих некрестях была душа? И того много, что атаман погулял с их черномазою дочкою!

– Не долго вам гулять, мошенники! – сказала шаман­ка, подкравшаяся сзади к разбойнику. – Скоро праздник ваш кончится!

Разбойник вздрогнул и замолчал, ибо шаманка своими чудными предсказаниями умела приобресть между разбой­никами невольное уважение к ее словам и даже наводила на них некоторый страх. Тайна сих предсказаний могла быть объяснена частью самым естественным образом, но частью заключалась и в общей способности людей поме­шанных провидеть будущее.

По окончании описанной сцены нетерпеливый повар закричал вторично:

– Атаман! Щи совсем простыли!

Атаман медленными шагами приблизился к столу и нехотя сел за него, но ничего не ел и только выпил полную кружку водки.

– Эх, атаман, – сказал разбойник, подле него сидевший и особенно им любимый, – полно хмуриться. Ты наводишь тоску на всех.

– Рад бы не хмуриться, да наступает осень; прошли, брат, разгульные годы. Ах ты, молодость, моя молодость!

– Ну что жалеть о прошлом. Еще поживем, погуляем!

– Нет, брат, что прошло, то прошло. Теперь, глядя на море, я вспомнил, что ведь там, куда закатилось солн­це, моя родина. Спало, брат, на ум, как, бывало, я живал в отцовском доме мальчишкою. Ах, тогда не надобно было напиваться, чтобы быть веселу: на душе не лежало смертного греха.

– А где же твоя родина, атаман?

– Я родился в Саратове, на берегах матушки Волги. Отец мой был богатый купец. Обучив меня грамоте, он не думал о моем воспитании: думал, что кончил все, и поса­дил меня в лавку. Денег у меня было много, товарищей – еще более. Мы пировали по целым ночам и пропивали все деньги. Отец мой начал считать меня, но не мог досчитать­ся многого, потому что большая часть товаров разлетелась из лавки, как вон эти галки. Он отнял у меня лавку и пе­рестал давать мне деньги; но я не перестал любить раз­гульную жизнь по-прежнему. Что ж мне было делать? Один из товарищей моих, воплощенный дьявол, отъявлен­ный картежник и пьяница, дал мне злодейский совет, кото­рый меня погубил навсегда. В одну ночь, держа дрожа­щею рукою топор, я прокрался в спальню отца и начал вытаскивать из-под подушки у него ключи. Отец пробу­дился, схватил меня за руку, а я... признаться, до сих пор не могу вспомнить без ужаса этой минуты, и язык не по­ворачивается выговорить страшного слова. Обрызганный кровью отца, я в беспамятстве выскочил на двор: тут поймал меня брат мой и получил от меня такой же пода­рок, какой я поднес отцу. Я действовал уже без разума. Меня схватили, наконец, наказали и послали скитаться в Сибири. Отец мой оправился и, узнав о моей участи, вся­чески старался спасти меня, но не мог и плакал о своем убийце, когда прощался со мною. И теперь еще помню, как он крепко прижал меня к себе и как слезы из глаз его капали на мое лицо...

(При сих словах крупная слеза выкатилась из глаз атамана.)

– Что за вздор! Я плачу! Этого, брат, давно не бы­вало!.. Более года шел я в Сибири, привязанный к канату, наслушался многого от моих честных товарищей и пришел в Иркутск еще краше, нежели каков вышел из Саратова. Недоставало только случая, чтобы приняться за доброе ремесло, которым теперь мы занимаемся: он скоро пред­ставился! Связавшись с пьяницами и мошенниками, я чувствовал большой недостаток в деньгах, несмотря на присылку их от моего отца. Однажды я остановился в одном домишке на Протоке. В нем жили старик с женою и дочерью: люди, надобно сказать, честные и страннопри­имные. Они не отказывали ни одному прохожему ни в ночлеге, ни в хлебе-соли. Я заснул на печке, но стук столеш­ницы пробудил меня. Я взглянул: старик считает сереб­ряные деньги. Сосчитавши, он склал их в мешок, положил в ящик, задвинул его к себе под кровать, потом лег и зас­нул. Нечистый дух овладел мною: сперва я перекрестился, когда ужасная мысль пробежала в уме, но потом страсть начала овладевать мною более и более. Не помню сам, как я встал и, взяв под лавкою топор... отсек бедному стари­ку голову. То же было и с его женою. Одна дочь, девушка лет шестнадцати, собою красавица, вдруг проснулась и бросилась из избы. Я нагнал ее и втащил в избу. Она умо­ляла меня о пощаде, но я не послушал ее. Взял ее за во­лосы, притащил к столу и, схватив с него нож, ударил ее в сердце. Какую же, думаешь, награду получил я за сии убийства? Только десять рублей! Рассуди, стоило ли это столько крови! Но я должен был бежать из города и ни­где не видел себе убежища, кроме стана разбойников. Однако ж и там не мог найти притулья от самого себя: окровавленный образ зарезанной мною девушки, как ад­ской дух, везде следовал за мною и мучил меня днем и ночью. Ты знаешь, старинный товарищ мой, жалел ли я жизни. Не бросался ли я туда, где более было опасности? Боялся ли я нападать на многолюдные караваны? Стра­шился ли переплывать море на утлом стружке, когда вол­ны расхаживали горами и большие дощаники бросало как щепки? Да, брат, я искал смерти, но смерть не приходи­ла ко мне; искал развеселить себя вином и гульбою, но минутный порыв буйного веселья разлетался как дым: я хотел молиться, но нет, это не по мне: мое сердце давно окаменело, и страшно, брат, в нашем ремесле поминать имя божие! Я прибегал к колдунам и шаманам: все вздор! Но один случай твердо остался в моей памяти. Спустя, кажется, с год после того, как мне надоела эта братская рожа (он указал на шаманку, которая от злобы и ярости заскрежетала зубами), я шел один по лесу: это было но­чью, и ночь была\ самая темная. На небе не светило ни од­ной звездочки, и в лесу было темно как в аду: зги не вид­но. Один только неотвязный призрак носился надо мною с пламенными глазами. Признаться, сколь ни мало я ро­бок, но тогда невольный страх обнимал душу. Вошедши в глушь леса, я вдруг услышал голос, словно как из могилы, но, кто говорил, не знаю до сего времени. «Зверь! упивай­ся кровью, но жизнь твоя на счету: семь лет еще осталось тебе грабить и убивать, а потом пойдешь на суд! Когда ты увидишь девицу, подобную убитой тобою, тогда вспом­ни, что час твой пробил!» Голос умолк – и все по-прежне­му было около меня тихо как в могиле. Я схватил с плеч ружье и выстрелил в ту сторону, откуда был слышен голос, но пуля, просвистев по лесу, не нашла никого винова­того. Сперва это проклятое предвещание сильно занимало меня. Я считал каждый день, думая, теперь я днем ближе к смерти, и спешил не каяться, нет, брат, – это уж позд­но! – а проживать жизнь, как говорится, недаром. Напос­ледок я начал уже пренебрегать предсказанием и считать его обманом, как вдруг ныне на заводе вижу в дочери за­водчика...

– Ах, атаман! Полно верить этому вздору! Плюнь на все! На-тко выпей еще вот эту кружку, так все бредни из головы вылетят!

Шаманка в продолжение повествования атамана сидела у огня. Адская улыбка пробежала по ее губам, когда ата­ман дошел до рассказа о таинственном голосе, но сию улыбку можно было сравнить с мгновенным явлением зар­ницы, которая, освещая красным пламенем тучи, остав­ляет по себе еще большую мглу.

Атаман, выпив поднесенную ему кружку вина, встал из-за стола и, еще подтвердив разбойникам быть осторож­нее, завернулся в лабашак и лег под навесом, приделан­ном по одну сторону избушки. Оттуда, не вставая с места, он мог обозревать на великое расстояние море и следить плывущие по нем суда, коих паруса развевались в отда­ленности. Долго смотрел он на волновавшееся море и да­лекие горы, пока тучи, приближаясь более и более, не за­дернули горизонта густым мраком. Ветер, разыгрываясь с наступлением ночи, превратился, наконец, в совершен­ную бурю. Сильные порывы ее, носясь со свистом над вершиною утеса, казалось, хотели сорвать с него хижину разбойников, лепившуюся на нем подобно гнезду хищных птиц. Рев урагана и шум разъяренных волн, разбивавших­ся о подошву утеса, могли бы навести ужас на каждого, не привыкшего к подобным явлениям и находившегося, так сказать, на острие высочайшей скалы. Но разбойники под шумом бури спали еще крепчайшим сном, нежели в тихое время. Атаман, отвернувшись к стене хижины, также пог­рузился в сон и захрапел. Не спали только шаманка и караульный. Последний сидел на камне подле всходу на утес, склонившись головою на винтовку, которою он упи­рался в землю. Несколько времени он был неподвижен в сем положении и потом, обернувшись к шаманке, стоя­щей подле огня, спросил ее грубым голосом:

– Як що ты не дрыхнешь, бисова дочка?

– Мое время еще не пришло, – ответствовала шаман­ка. – Когда придет, усну и я. Но вы, хищники, все должны заснуть прежде.

Разбойник отвернулся от нее с негодованием и, завор­чав что-то про себя, принял прежнее положение. Долго сидел он в раздумье, наконец затянул тихонько песню:

Ай доля ж, моя доля!

Где ты в той час была,

Как мене мати на свет породыла?

Ай доля ж, моя доля,

Доля неправдыва!

Голос его, заглушаемый ветром, становился все тише и тише. Он два раза сильно зевнул и потом, казалось, заснул крепким сном.

Оставшись одна посреди спящей группы, шаманка рас­клада большой огонь, подложив в него сухих сосновых вет­вей, и, освещенная красным пламенем, виднелась на скале, подобно гению бури. Увидев сие, Алексей и Неудачин, по предварительному условию с нею, начинали подниматься на утес. За ними шли, друг за другом, Громило, казак и десять человек самых удалых из числа бурят. По чрезвы­чайной крутости и высоте горы, подъем их продолжался около получаса.

В продолжение сего времени шаманка, подойдя поти­хоньку к спящему караульному, толкнула его изо всей силы, и он слетел стремглав в море, не успев произнести ни одного звука. Только сильный плеск, произведенный его падением, был слышен оставшимися под горою бурятами. После сего шаманка обобрала у разбойников ружья, также бросила их в море и потом встала по-прежнему у огня, загородив собою падающий от него свет на сторону спуска. Пользуясь сим, начали выходить на утес пресле­дователи и под шумом бури, с величайшей осторожностью ползком размещались по краю площадки, наводя винтовки каждый на особого разбойника. Оставалось только еще выйти трем бурятам, как атаман вдруг проснулся и, обло­котившись на руку, начал осматривать кругом себя. В сие время шаманка вскричала:

– Час твой пробил! – раздался залп ружей, и пули посыпались на спящих разбойников.

– Измена! – закричал атаман, выхватив пистолет, ви­севший у него на поясе.

Одиннадцать человек разбойников уже не могли услы­шать знакомого клика и лежали без движения, обливаясь кровью. Остальные девять, в страхе и. изумлении, вскочи­ли на ноги, каждый хватился своей винтовки и, не найдя ее, выдернул саблю. Но в то мгновение еще раздались три выстрела, и еще три разбойника выпали из ряда своих товарищей.

– Ребята, не дадимся живые! – вскричал атаман. – А ты, изменница, гибни первая!

Он выстрелил в шаманку. Пуля пробила ей навылет левое плечо. Она упала на потухавший огонь, и куча искр посыпалась при ее падении. Потом начался смертный бой, сопровождаемый криком и стонами, мешавшимися с воем бури. Алексей и Неудачин, как личные, непримиримые враги атамана, бросились на него вместе с казаком. Громило управлялся с тремя разбойниками, а Коровин с помощью двух товарищей бился с братскими. Сим последним, при превосходстве числа, наконец, удалось одолеть двух разбойников, но не так было легко совладать с неодолимым Коровиным, который, бросив саблю, схватил одного из бу­рят за ноги и начал бить им его товарищей. Изумление и страх отняли, так сказать, руки у бурят, и они кинулись бежать с горы, исключая двух самых сильных и самых проворных, которые, бросаясь с невероятною быстротою на своего противника, успели подхватить его под силу и начали с величайшим усилием валить на землю В продол­жение сей борьбы Коровин, постепенно подвигаясь ближе и ближе к краю утеса, наконец, сжал обоих бурят с ужас­ною силою своими руками и начал тащить их к бездне.

– Коли гибнуть, так погибнем же вместе! – вскричал он с остервенением.

Еще устрашенные буряты, упираясь в землю, стара­лись всячески избегнуть предстоящей гибели и сломить страшного неприятеля, но Коровин, употребив последние силы, дернул их с ужасным напряжением и – рухнул в пропасть вместе со своими врагами. С другой стороны Громило также оказал чудеса силы и храбрости. После непродолжительной битвы, сшибя прикладом одного из разбойников, он успел схватить двух других, каждого одною рукою, и ударил их на воздухе друг о друга: кровь хлынула из них ручьем, и они тут же умерли, почти не испустив ни одного вздоха. Между тем атаман, соединяя необыкновенную силу и проворство, бился также с тремя своими противниками. Пламенный Алексей напал на него первый. Сабли сражавшихся, ударяясь одна о другую, сыпали искры. Наконец атаману удалось ранить в голову Неудачина, и он упал навзничь, распростя руки. Та же участь ожидала и Алексея, но он, успев ускользнуть от удара, вышиб саблю из рук разбойника и ранил его в ру­ку. Несмотря на сие, разбойник бросился на него с уди­вительным проворством и, не дав повторить удара, схва­тил одну из них и занес руку, чтобы вдруг проколоть обоих противников. Но в сие мгновение сильный Громило, совершив свой богатырский подвиг, подоспел к ним на помощь, схватив за руку атамана, удержал удар. Атаман, увидев нового противника, вскочил на ноги, вырвал руку и замахнулся на Громило саблею. Но Громило предупредил его: нанес ему ужасный удар кулаком и сшиб его с ног. Тогда оправившийся Алексей бросился на своего врага, как молния, и стал ему коленом на грудь, занес саблю над его головою и вскричал:

– Злодей, жизнь твоя на волосу! Говори, где дочь Жолобова? Говори!

Атаман не говорил ни слова.

– Злодей, еще раз спрашиваю тебя, где дочь Жолобова? Говори!

Атаман ответствовал одним скрежетом зубов, стараясь освободиться.

– Говори, кровопийца!

Он молчал.

– Да у нас и нехотя заговоришь, – вскричал Громило, схватив разбойника за горло.

– Скажу! – прохрипел он задавленным голосом.

Громило ослабил ему горло, но видя, что разбойник снова замолчал, он опять начал давить крепче преж­него.

– Дайте мне дохнуть! Расскажу все!

– Нет, – говорил Громило. – Ты хочешь морочить нас!

Сказав сие, он сжал разбойнику горло со всею силою, и кровь бросилась у него в лицо.

– Скажу! – шептал атаман умирающим голосом.

– Пусти! его! – говорил Алексей. – Со смертью его соединено все, что для меня дорого.

– Ну так и быть, – сказал Громило, ослабив горло. – Говори!

– Она утонула, – сказал атаман.

– Врешь, злодей! – вскричал отчаянный Алексей.

– Не вру, а говорю правду, – отвечал разбойник твер­дым голосом. – Она утонула, и с нею погибли лучшие мои товарищи! Коровин!.. (При сем слове атаман огляделся с ужасом вокруг себя)... Его уже нет! Подтвердить слов моих некому. Все товарищи мои погибли. Так, видно, нас­тал и мой конец!

Он неожиданно рванулся с чрезвычайною силою; сбро­сил с себя Громило и мгновенно добежал до края утеса.

– Прощай, проклятая жизнь! – произнес он отчаян­ным голосом и кинулся в море.

– Туда и дорога! – сказал равнодушный Громило. – Черти давно тебя ждали.

Между тем раненый Неудачин опомнился. Громило и казак, подняв его, перевязали ему рану. Несколько време­ни он не мог говорить, потом спросил воды. После сего, оправляясь мало-помалу, наконец пришел в состояние с помощью Громилы и казака спуститься под гору: Там бу­ряты, отвалив камень и расчистив хворост, обыскивали пе­щеру. Неудачин, несмотря на свою слабость, также кое- как дотащился туда и занялся прилежно осмотром разбой­нических потайников. Отыскав в них на великую сумму разных товаров, он утешал себя мыслью, что может сно­ва выстроить завод.

– Ну, слава богу, – говорил он сам с собою. – Теперь я могу выстроить завод еще лучше прежнего. Я наперед знал, что бог не попустит злодеям. Денежка была нажита трудом и потом.

Громило и казак также участвовали в добыче, однако ж с завистью смотрели на Неудачина.

– Видно, он, – говорил Громило, – хочет быть богаче Строганова.

– Да, – отвечал казак. – Он, знать, дошлый. Недаром говорится: благая Сибирь, да люди бешеные.

В продолжение сего дележа, всегда и везде рождаю­щего несогласие, один Алексей не обращал ни на что внимания и был безутешен, В душе его была такая же тьма, как и в окружавшей его природе. Для него мир не существовал: все погибло с Натальею. Мысли его блуж­дали в беспорядке, и все прошедшее казалось для него сном. Бледный и отчаянный, он стоял в молчании на вер­шине скалы. Ничто не нарушало его глубокой задумчи­вости: на сей скале, за час до сего населенной многолюд­ною и шумною толпою, царствовала безмолвная, мрач­ная смерть, и только в судорожных движениях шаманки, забытой на угасавшем костре, являлись последние дей­ствия жизни. Наконец кожаная одежда ее, смоченная кровью, тлеясь мало-помалу загорелась, тогда шаманка, объятая пламенем, выйдя из смертного забвения, вдруг поднялась с костра, подобно адскому духу. Пылающее платье на ней развевалось ветром. Она дико посмотрела на все стороны и, видя повсюду убитые тела, плавающие в крови и тускло освещенные красным светом, запела нечеловеческим голосом:

Окончился пир!

Лежат опьянелые гости!..

Довольны ли, други, приятством моим?

Достало ли мщенья и злости?

Вы сыты ли кровью? Не мало ли ран?

И где же могучий ваш спит атаман?

Свершился обет Окодила:

И зверь кровожадный убит!

И зверь кровожадный лежит!

И море злодею – могила!

Пробил ты, желанный отмщения час, –

И я умираю с отрадой!

О души родных! я погибла за вас,

Но вечность мне будет наградой.

Произнеся последние слова едва слышным голосом, шаманка снова упала на огонь, как сломленное бурею дерево. Алексей, выведенный из задумчивости шипением, сверканием искр, бросился ее вытаскивать, но обгорелое тело ее уже не показывало никаких признаков жизни.

После сего Алексей, обыскав хижину и подземелье разбойников в надежде: не откроет ли каких следов На­тальи, принужден был, наконец, хотя и с крайней горестью, примириться с тою мыслию, что она уже для него не существует, и, поехав обратно, сказал с глубоким вздо­хом:

– Итак, теперь для меня счастья более нет.

По прошествии нескольких дней он выехал по дороге в Нерчинск на каменистую и почти безлесную почву, пе­ресекаемую болотными тинистыми речками и простираю­щуюся верст на полтораста между Верхнеудинским и Яб­лоновым хребтом. Единственные обитаемые места на всей этой обширной пустыне суть только содержимые бурятами станционные дома и тюрьмы для проходящих ко­лодников. Но в то время, когда проезжал Алексей, не было и этого. На месте станционных домов стояли одни бурятские юрты. Дорога, по сему пространству проходя­щая, даже до сего времени столь неудобна, что на ней ломаются самые крепкие экипажи. По сей причине едва проехал Алексей верст с двадцать от первой станции, как, покрытая циновками, скудная повозка его излома­лась, и он должен был остановиться на дороге, покамест ее улаживали. Прислонившись к дереву, он смотрел на унылые виды, его окружавшие, и печальное воображение его находило в них подобие его жизни. Все вокруг него было грустно и мрачно; одно небо светлело, оно одно об­легчало душу своею неизменною красотою.

«Так и в сей жизни, – думал Алексей, – наполнен­ной страданиями, одно небо может облегчить нашу го­ресть: там лучшая жизнь. Там мы будем счастливы!»

Посреди сих мечтаний он вдруг услышал звон коло­кольчика. Повозка, запряженная тройкою, неслась во всю прыть. В ней сидел старик, которого знакомые черты об­ратили на себя его внимание. Алексей подошел ближе к дороге. Старик также, завидев его издали, смотрел на него пристально, наконец вскричал ямщику!

Стой! – и выскочил из повозки.

– Батюшка!

– Алексей!

Они бросились друг другу в объятия и после первых порывов свидания долго говорили между собою. Алек­сей сделался совершенно спокоен и весел. Наконец Жолобов, садясь вместе с ним в повозку, сказал:

– Да, брат Алеша, несмотря на свою старость, я не мог утерпеть, чтоб не догнать тебя с радостною вестью. Я знаю, каково тому, у кого лежит на сердце безнадеж­ное горе.

**ГЛАВА IV**

Был сентябрь месяц. Погода стояла самая скучная, самая омулевая, по выражению иркутских жителей: дождь не шел, а сеялся как сквозь сито. Несмотря, одна­ко ж, на омулевую погоду, почти в каждом иркутском доме были слышны песни с аккомпанементом сечек, уда­рявшихся об дно полубочьев, в которых рубили капусту. Рубка производилась помочью и обыкновенно оканчива­лась ужином, после которого начиналась пляска. Посему иркутские девушки, не исключая самого высшего разря­да, всегда с нетерпением спрашивали одна другую! ско­ро ли у вас будет капустка? Так было в старину, но не так ныне. И капустка подвергалась той же участи, как и все наши прадедовские обычаи. Теснимая новыми обык­новениями из средины города, она удалилась в самые беднейшие края его: в так называемые солдатские ули­цы, в окрестности Кузнечного ряда и т. п. Но в описы­ваемое нами время капустка была еще в самом цветущем состоянии, и голос ее, не боясь осуждения, весело оглашал самый центр города, где стоял дом Жолобова Домна Сидоровна, по отъезде Алексея переехавшая в сей дом, на­ходилась в больших хлопотах, заботясь о приготовлении ужина, и беспрестанно перебегала из горницы в зимовье, то есть в кухню, и обратно. Толпа девушек, окружая три полубочья, поставленные в завозне, или в каретном са­рае, пела веселые песни, а между тем несколько старушек обрубали вилки, и несколько мальчишек хлопотали над кучею кочней. Песни девушек прерывались шумными разговорами и хохотом.

– Тьфу, пропасть, – сказала одна из них. – Как устали рученьки. Отдохнемте, девоньки.

Девушки перестали рубить и расселись по завозне, где кто мог: иные на санях, иные на дрожках, иные на полубочьях.

– Полноте лениться, девушки, – сказала одна из старушек. – Женихам не стану хвалить.

– А не хвали, пожалуй, – сказала та же девушка, – нам и без женихов хорошо.

– И конечно, хорошо, – подхватила другая. – Де­вушка живет, ни о чем не думает, а выйди замуж, так и досыта наплачешься. Иной муж, пожалуй, еще и увезет невесть куда.

– Правда, детушки, – сказала старуха, не переста­вая обсекать вилки, – правда. Всяко случается. Как судьба выпадет. Вот и я на своем веку вдоволь наплака­лась, живучи на чужой сторонушке.

– А где же была ты, бабушка? – спросила еще од­на из девушек.

– В Камчатке, мать родная, в Камчатке. Муж мой не успел жениться на мне, как и послали его штурманом. Он, слышь, ведь учился в школе... ну, где учат, как на море-то плавать. Много пролила я слез, разлучаясь с батюшкою и с матушкою, да делать было нечего. Две­надцать, слышь, годков там выжили, пока не случилась штурма...

– Что же это за штурма, бабушка?

– Ох, дитятко. И теперь страшно, как вздумаю. В Камчатку, слышь, посылали варнаков в ссылку. Один из них был, кажись, поляк... как, бишь, его звали?.. Дай бог память!.. Ну, да провал его возьми. Не вспомнишь, фамилия така мудреная. Вот этот полячишко (чтоб ему ни дна, ни покрышки!), хромой бес, – прости господи (ведь он был хром на одну ногу) – и взбунтуй всю свою братью ссыльных, а комендант в Большерецке, где они жили (не тем будь помянут!) любил, слышь, попивать, и к вечеру, бывало, уж так всегда наклюкается, что еле-еле ноженьки держат. Они, проклятые, это знали да но­чью и нагрянули на него. Он очнулся, схватил было по­лячишка за галстух, поднял выше себя да тут же и хотел дать ему карачуна... Ведь он был человек прездоровенный – дай бог ему царство небесное! – и предоброй ду­ши. Камчадалы-то нахвалиться не могли, да и все мы жили, подлинно сказать, припеваючи. Мой-то служил при нем ровнехонько...

– Ну да ты ведь уж сказывала нам, сколько вы жи­ли в Камчатке, – заметила одна из слушающих с при­метным нетерпением. – Чем же все кончилось?

– А на чем, бишь, я остановилась?

– Ну, хотел дать карачуна...

– Да, да!.. Эх, детушки, память-то слаба стала. Не сердитесь на старуху, доживете до моих годов, то же бу­дет. Век прожить не поле переехать. И я была молода, да вот состарилась. Прожила свой век за холшовой мех! Ох, тих-ти, тих-ти!

– Какая несносная, – шептали девушки. – Ну да не мучь нас, рассказывай, Исаковна, пора приниматься за рубку.

Хорошо, мои ласточки, хорошо. Ну так вот комендант-от и схватил полячишка за галстух и так его завер­нул было, что у него душа уж в пятки ускочила, как вдруг на ту пору вбегал еще другой из их шайки да и застрелил, бедного. В это время двое его деточек, сын да дочь, еще малюточки, со страху залезли под стол и целую-то ноченьку просидели там, бедняжечки, пока не при­шли к ним в горницу. Вот, подумаешь, сироты-то оста­лись. Не было ни рода, ни племени в стороне дальней... Ох, мои матушки! Как и теперь еще вспомню об них, так...

– Да доскажи, пожалуйста, что начала. Ну что же бунтовщики, когда убили коменданта?

– Бунтовщики-то, родимая? Ну вот, убивши комен­данта, они начали кутить да мутить: уж тогда, вестимо, была им своя воля во щах. Забрали казну, захватили ка­зенные суда, а матросов-то, слышь, иных принудили ехать с собою силою, другим насулили золотые горы. Вот и мой-то тут же попался. Не хотел сначала, не хотел, мои матушки, так ведь пристали с ножом: убьем, да и толь­ко. Что делать станешь? Сила солому ломит. Принуж­ден был мой голубчик (слезы навернулись на глазах Иса­ковны) скрепя сердце ехать с ними, злодеями. И теперь еще помню, как судно пошло на парусах от берега и как он протягивал ко мне, мой сердечный, свои рученьки... Ведь он любил меня, покойник!.. Тут уж у меня и слез-то не было. Так и унесли домой без памяти.

– А разве он умер, что ты его называешь покойни­ком?

– Вестимо, что умер, – отвечала сквозь слезы Иса­ковна. – Вот уж осьмнадцать годочков скоро исполнит­ся, мои матушки, как нет ни вести, ни павести.

– И ты ничего не слыхала об нем, по выезде его из Камчатки?

– Нет, он писал ко мне уж из Питера. Бунтовщики, слышь, приехали во Хранцию. Мой-то там и явился к какому-то посланнику, а тот его отправил в Питер. От­туда я получила от него одно письмо, да с тех пор как закопало!

– А как же ты-то переехала сюда?

– Я-то? Да кое-как, матушки! Два годочка ровне­хонько жила я в Камчатке по милости добрых людей. Наконец, услыхала, что отец Фирс собиратся в Иркутск; я и припала к матушке-попадье со слезами, а она такая – дай бог ей здоровье! – добрая и нисколько не поперечила. А кабы не она, то и теперь бы привелось мне мыкать там свое горе.

– А что, ты очень бы обрадовалась, – спросила од­на из девушек, – если бы муж твой возвратился?

– Что ты, матка, спрашиваешь. Уж как бы не обра­довалась. Ведь я теперь сирота на белом свете: нет ни роду, ни племени. Батюшка и матушка давным-давно ле­жат в сырой земле; был сынок, и того бог прибрал. Как бы не обрадоваться! Да не бывать этому! Нет уже его, голубчика, не видать мне на сем свете!

При сих словах Исаковна заплакала, а растроганные девушки сидели все в глубоком молчании.

– Что позамолкли, красавицы? – спросила вошед­шая в завозню Домна Сидоровна.

– Да вот заслушались Исаковны.

– Эх, Исаковна! – сказала Домна Сидоровна, – нашла время рассказывать. Лучше бы затянула свою камчатскую...

– И в самом деле! – закричали все в один голос де­вушки. – Спой-ка, спой, Исаковна!

– Полноте, дурочки. Что я за певица. Я уж забыла, как и песня-то начинается.

– Хоть сколько-нибудь, да спой. А коли не споешь, так мы и рубить не станем.

– Ну потешь их, Исаковна, – сказала Домна Сидо­ровна. – Спой, помнишь, вот эту, что ты прежде всегда певала...

– Охота тебе, Домна Сидоровна, тревожить меня, старуху. Ну да уж нечего делать, так и быть, спою. Только, чур, надо мной не смеяться.

– Пой, пой! Не будем, – говорили девушки, прини­маясь за сечки.

Исаковна несколько раз кашлянула и затянула уны­лым голосом камчатскую песню.

Полно, милый мой, не стреляй,

Свинцу, пороху не теряй!

Ой юхонты, милый мой Хатыю!

Нынче порох дорогой,

Каждый выстрел – сто рублей.

Ой юхонты, милый мой Хатыю!

– Не помню более, – сказала Исаковна, – не пом­ню. Довольно! Я вас потешила, теперь ваша очередь.

Спасибо и за то, Исаковна, – сказали девушки и, застуча сечками, запели:

Помнишь ли меня, мой друг, в дальней стороне?

Или ты не думаешь вовсе обо мне?..

Наталья, слушая сию песню, не могла удержаться от слез и, желая скрыть их, поспешно оставила сечку и по­шла в горницу, где отец ее, сидя подле стола, прочиты­вал разные происшествия своей жизни, записанные в святцах. Приметив слезы на глазах Натальи, он сказал ей:

– Наташенька, ты опять принялась за слезы. Я тебе уж не раз говорил, что отчаяние – смертный грех и что мы должны, несомненно, полагаться на бога.

Наталья, утирая слезы, села подле окошка, глядела уныло на увядшие деревья и, казалось, не слышала слов отца.

– Наташенька, полно грустить, я тебе говорю, – продолжал отец, не переставая перебирать святцы, и по­том вдруг вскричал: – Ах, боже мой! Сегодня ровно два года, как я нашел тебя в Посольске,

– Неужели, батюшка?

– На, читай!

Наталья взяла книгу и прочла отмеченное ее отцом на поле, против тридцатого сентября: «Лета тысяча семьсот... по приезде в Посольский монастырь я нашел в монастырской гостинице, сверх всякого чаяния, дочь мою Наталью, чудесно спасенную от разбойников вос­ставшею бурею. Все они потонули, исключая одного, который, помня мою хлеб-соль, решился спасти мою дочь и, с крайним усилием едва доплывая с нею до берегу, донес ее на своих руках в монастырь, а сам скрылся, ку­да – неизвестно. Тут я служил молебен».

– Не стыдно ли же тебе, Наташенька, – сказал Жолобов, – и после этого еще плакать и отчаиваться? Не явно ли видна над тобою рука Промысла?

– Ваша правда, батюшка.

– Так поди же лучше, чем плакать, поблагодари бо­га: молиться ему ни в какое время не стыдно, а потом ступай веселись с подружками. Чу, это, верно, Митька слепой на скрипке... Ну поди же, да возвращайся ско­рее.

По окончании рубки начался ужин, на котором играл преважную ролю большой капустный пирог, испеченный в нескольких экземплярах. Во время ужина слепой скри­пач Митька, непрестанно кланяясь, подобно часовому маятнику, наигрывал разные церковные гимны, напевая их охриплым тенором, с помощью баса, которым подтя­гивал также слепец, довольно высокого роста, значительной физиономии, с открытыми глазами, коих слепота приметна была только по неподвижному их положению.

– Славно, брат Митя, славно, – сказал Жолобов. – Да откуда тебе бог дал еще товарища? Что-то я преж­де нигде не видал его.

– Где же вам видеть меня, – сказал новопришедший слепец. – Я только на этих днях в город прита­щился.

– А откуда тебя бог принес? – спросила Исаков­на, всматривавшаяся между тем в слепого с большим вниманием.

– Издалека, матушка.

– Странно это, – говорил Жолобов. – Слепой – издалека.

– Да откуда же ты, родимый? – спросила опять Исаковна с возрастающим любопытством.

– Из Питера, матушка.

– Ах ты, господи! Да как же ты доехал досюда?

– Доехал! Рад бы доехать, да не на чем. Сперва до Нижнего плыл Волгой. Тут сделался болен, лишился глаз (знать, темная вода подступила!), а все-таки не мог перемочь себя, чтобы не тащиться на родину. Уж пусть хоть косточки мои, думал я, да полежат на родной земле. Вот кое-как прильнул я к обозу да и дотащился пеш­ком. Слава тебе, создатель!

– А как же в Питер-то ты попал? – спросил Жо­лобов.

– В Питер-то? Эх, добрые люди! Рассказывать все, так будет много. Прежде нежели попал я в Питер, объе­хал кругом весь белый свет. В Питере прослужил семнадцать лет на тамошнем море, да и вышел вчис­тую.

– Уж подлинно вчистую, – подхватил его това­рищ. – Гол как сокол!

– Да не из Камчатки ли ты, родимый? – спроси­ла Исаковна с приметным беспокойством.

– Да, матушка! Там осталась у меня жена. Давно я не слыхал об ней никакой весточки: знать, померла уже, бедная. (Слепой тяжело вздохнул.) Ну да и мне недолго гостить здесь, там увидимся.

– Ах, господи! Да уж не Архип ли ты Петрович? – вскричала Исаковна, выскочив из-за стола.

– Боже мой, что я слышу? – сказал слепой, затрепе­тав и всплеснув руками. – Мое имя! Знакомый голос!

Исаковна, залившись слезами, бросилась обнимать нищего, который стоял в изумлении.

– Кто это? О господи! Ужели это ты, Исаковна!

– Это я! Это я! – повторяла Исаковна, всхлипывая. – Ах, голубчик ты мой, Петрович! Еще-то батюшка царь небесный привел видеть тебя! Уж не думала-то я, горемышная! Слава тебе, господи!

– Слава тебе, господи! – повторил слепой трепещу­щим голосом, обнимая жену и подняв кверху свои потем­невшие взоры. – Не до конца ты еще прогневался на меня! Теперь я еще не один на сей земле!..

– Уж вестимо, что не один, мой голубчик! – подхва­тила Исаковна. – Покину ли я тебя, моего сердечного! Гла­зоньки-то твои ясные помутились, а то бы что! Зажили бы мы, может быть, опять лучше лучшего. Да, видно, та­кая несчастная судьба моя!

Сказав сие, Исаковна горько зарыдала.

– Не плачь, Исаковна, – говорил слепой. – Все от бога! От него вёдро, от него и бури! Корабль наш хоть и без кормила, но с его помощью как-нибудь дотащится до пристани и станет на мертвый якорь, как и другие.

Жолобов, смотревший с умилением на сию сцену, посадил старика с собою ужинать, долго разговаривал с ним о его странствованиях и наконец сказал:

– Много ты погулял по свету, старинушка, пора тебе и успокоиться. Исаковна твоя призрена в монастыре..

– Да, Петрович, – перебила Исаковна. – Сначала Андрей Иванович не оставлял меня сам, а потом просил за меня матушку-игуменью.

– Бог да наградит вас, Андрей Иванович, – сказал слепой, тяжело вздохнув.

– Ну так я хотел сказать, – продолжал Жолобов. – Исаковна твоя призрена в монастыре, а ты найдешь теп­лый уголок у меня.

– Благодарю тебя, добрый человек, – отвечал ни­щий. – Митя много уже порассказал о тебе, как мы шли сюда. Но я не могу принять твоего одолжения. Во всю жизнь свою я добывал хлеб трудом, теперь работать не могу, так, по крайней мере, буду выпевать его. С миру по нитке – голому рубашка.

Жолобов, умевший всегда уважать чувства другого и благотворить, не обижая чужой гордости, не старался убеждать нищего и решился помогать ему посредством его жены, которой он в тот же вечер дал достаточную сумму на его содержание.

После ужина началась вечеринка. Танцы состояли, во-первых, из русской пляски, в которой девушки, подбоченясь и едва передвигая ноги, так сказать, плавали в самом стройном чине по параллельным линиям, друг против друга. И, во-вторых, из восьмерки, любимого и, если мож­но так выразиться, национального иркутского танца, сос­тоящего из восьми и более пар, которые становятся в кружок и потом, начиная с первой, вертятся по порядку одна за другою: вначале первая со второю, потом с треть­его, четвертою и так далее. После первой начинает то же вторая, там третья и все последующие, делая разные фи­гуры, как-то: крест, круг, плетень и т. п. Восьмерка есть танец самый продолжительный и утомительный, особенно при большом числе пар. Незадолго до настоящего времени она была в употреблении на самых парадных балах иркут­ских, и, бывало, какой-нибудь секретарь казенной палаты или заседатель земского суда, расфранченный по иркутской моде, со всей провинциальной ловкостью подбегал к ор­кестру и торжественно провозглашал: «Восьмерку!» Но – увы! – прошла чреда и восьмерки вместе с капустою.

Важная эпоха падения восьмерки произошла в 1819 году вместе с другими изменениями иркутского быта. Новые лица образованные, новые идеи освежили тогда застоя­лое иркутское общество; самые балы приняли новый вид, и на место восьмерки, изгнанной со всею династией прежних танцев, воцарился непримиримый враг ее – ко­тильон.

Но в доме Жолобова восьмерка владычествовала еще с полной властью, измучила смертельно всех танцевавших и, начинаясь неоднократно в течение вечеринки, была и заключением пляски. Уже утомленные гости, сидев в мол­чании, начинали зевать; свечи от жара и дыхания горели очень тускло, и измученный музыкант, положив скрипку за армяк, начал сбираться домой вместе со своим товари­щем.

– Не лучше ли, Митя, тебе ночевать здесь? – сказал Жолобов, отдавая ему деньги.

– Благодарю покорно, Андрей Иванович. Я и так до­волен вашею милостию.

– То-то доволен! Опять не зайди на жилкинскую по­скотину.

– Что это, батюшка Андрей Иванович, – отвечал сле­пой, крестясь. – Не все же издеваться надо мною нечис­тому.

– Ах, расскажи-ка, Митя, – сказала одна из деву­шек, – как это случилось с тобою?

– Поздно, мати, поздно. Пора домой. Да и вам пора спать.

– Ну расскажи, Митя, – сказал Жолобов. – Еще выспишься.

– Ну коли твоей милости угодно, то так и быть.

Девушки обрадовались согласию слепого, и он начал рассказывать следующее:

– Однажды на святках вышел я из дому вечерком. Иду по улице, прислушиваюсь, нет ли где сборища в до­ме, авось-де, думаю, скличут меня... как вдруг подошел ко мне один знакомый. «Здравствуй, Митя!» – сказал он мне. «Здравствуй, Лука Фадеич! – отвечал я. «А я тебя ис­кал, – сказал он мне. – Пойдем, брат. Сегодня в доме у Закалданихи пир горой. Девушки привязались ко мне, чтобы сыскать тебя. Слышь, затевают пляску». – «Ну что ж, – отвечал я. – За мною дело не станет. Пойдем!». Вот мы и пошли с ним. Вошли в избу; людей, слышь, тьма-тьмущая, и в избе страшный жар. Я сел подле дверей, настроил скрипку да и давай закатывать «По мосту». Тут началась такая толкотня и шум, что господи упаси! Вот я играл, играл, наконец чувствую, что руки уж еле дви­жутся и зубы начинают стучать, словно на морозе. Я по­ложил скрипку да и сказал хозяйке: «Нет ли, Лукерья Саввишна, хоть рюмочки канифоли? Уж струны перестали играть». Тут откуда ни взялся опять мой знакомый со штофом и с рюмкою, налил мне водки и, подавая рюмку, сказал: «Пей, Митя!» Я только взял рюмку в руки да перекрестился, как ни избы, ни людей не стало, и только дикий хохот раздался вокруг меня. Я хотел вскочить на но­ги да и бултых прямо в снег со столба, на котором сидел, думая, что сижу на скамье. «О господи! – вскричал я, – что со мною делается?» Тут дикий хохот опять раздался, ко уже в отдалении от меня, как будто кто-то, хохотавши, бежал далее и далее, так что наконец голос его смешался со свистом ветра и исчез совершенно. Вскоре настала ужас­ная пурга: руки и ноги у меня совершенно окостенели, и я, бредя сам не зная куда, думал: ну, видно, пришла смерть моя, и мне больше не игрывать на вечерках. Признаться, хоть и не красна моя жизнь, хоть и не видал от роду божьего света, а все-таки умирать как-то не хочется. Пойду, говорил я на волю божыо, авось он, батюшка, и пошлет мне помощь! В самом деле, не успел я ступить несколько шагов, как слышу: едут сани. Я обрадовался, перекрестился да ну кричать: «Отцы родные! Спасите!» Сани остановились, я услышал голос, словно как ангел-хранитель прилетел ко мне...

– Ну довольно, Митя, – сказал Жолобов. – Не всякая песенка до конца допевается.

– Нет уж, батюшка. Когда вы велели начать, так дайте же волю и кончить. «Садись скорее в сани, – ска­зал мне голос, – Я довезу тебя в город. Как это ты ночью и в такую погоду зашел сюда? Дай, я тебя прикрою своей шубой. Смотри-ка, ведь ты окостенел». Дрожа от холода, я ничего не мог отвечать, сел к неизвестному в сани и прикутался его шубою. Он привез меня к себе в дом, велел напоить чаем, и я, оправившись, пал ему в ноги... Ах, Андрей Иванович! Я никогда не забуду этого и покон века буду помнить ваше благодеяние.

После сего рассказа девушки начали расходиться, и нищий, выждав, как в комнате уже не оставалось никого, значительно сказал Жолобову:

– Андрей Иванович, мне нужно сказать вам кое-что наедине, я все выжидал времени.

– Что такое, Митя? Говори! Здесь теперь никого нет.

– Вы, я чай, слышали, что приехал ревизор, какой-то майор Крылов.

– Как не слыхать. Уж с неделю, как он приехал. Ну так что же?

– Вот что, батюшка. Говорят, мошенник Груздев успел подладиться к нему, слышь, с заднего крыльца.

– Ну пусть его. Мне какое дело.

– Да вот какое. Говорят, он что-то наболтал, слышь, на твою милость.

– Бог с ним.

– Конечно, бог с ним. Только я хотел бы остеречь вас. Не худо бы вам поудалить от себя того приказчика, который перешел к вам от Груздева. Он ведь настоящий плут.

– Эх, полно, Митя. Злословить грешно.

– Ну пусть грех на моей душе. Да вот что, я, слышь, сегодня сижу в питейном, как вдруг пришли двое приказ­ных: один Запекалкин да еще другой... прозвание забыл, ну да и черт с ним!.. Вот они, слышь, долго что-то гово­рили в углу между собою шепотком. Я слышал только, что поминали ваше имя, имя приказчика, имя Крылова; и что потом Запекалкин сказал, смеясь, своему товарищу: «Ну таковской был. Вперед не будет знаться с сатаною».

– Пустое, Митя. Пусть лают: на чужой роток не на­кинешь платок!

– Оно, конечно, так, только что давно болтают в го­роде, будто к вам огненный змей носит каждую ночь день­ги: так, пожалуй, мошенники...

– Не думаю, Митя. Я Груздеву никакого зла не сде­лал. Если призрел его приказчика: то ему еще злиться, кажется, не за что. Правда, было и другое дело...

– Вот то-то и есть Андрей Иванович. Сказывают, что он ненавидит вас за то, что вы отказали, когда он сватался.

– А ты как знаешь?

Как не знать? Слухом земля полнится.

– Ну спасибо, Митя, за усердие. Впрочем, я надеюсь на бога: он знает мою душу. Пусть затевает всяк что хочет: грех будет на них!

**ГЛАВА V**

После описанной нами в предыдущей главе пирушки Жолобов, принеся вечернюю, самую усердную молитву бо­гу, сидел еще несколько времени, облокотившись на стол.

Он вспомнил прошедшие радостные и печальные случаи своей жизни; вспомнил о своем предзнаменательном сне; разгадывал слова, слышанные им от нищего; терялся в разных предположениях в рассуждении предстоящей опас­ности. Но, наконец, как бы опомнившись, взглянул на образ и сказал:

– О боже! Что я делаю? Все в твоей власти! И да будет тебе, угодное!

После сих слов он взял Евангелие, прочитал главу о страданиях Иисуса и, закрыв книгу, с глубоким вздохом повторил несколько раз сии разительные слова: прис­корбна есть душа моя до смерти; потом встал со стула, погасил свечу, перекрестился и, чистый в совести, скоро заснул крепким сном.

Спустя после сего около получаса, когда всеобщая глу­бокая тишина и темнота в доме Жолобова показывали, что уже все живущие в нем спали, кто-то, выйдя тихонько из подклета, перелез через забор на улицу, как бы боясь застучать воротами, и пробирался в тени забора, по-видимому, избегая лунного света. Чрез несколько минут раздался самый осторожный удар воротного кольца у до­ма Груздева, ворота скрипнули, и опять по-прежнему все стало тихо.

Печальное светило ночи. Не оттого ли покрыт вечной бледностью и глубокою думою твой неизменный образ, что ты есть всегдашний зритель самой мрачной стороны рода человеческого? Пред взором твоим гнусное коварство сплетает сети для погубления добродетели, поднимает ужасное чело свое лютое убийство, руководимое жаждою богатства или ложной чести. Ты, единый безмолвный сви­детель, внимаешь стонам умирающего под ударами злодея и видишь страшную картину тщетных молений и зверско­го, неутолимого ожесточения. Ты, неизбежный созерцатель самых тайных деяний человеческих, видишь, как гнусный разврат, утопающий в море пороков и преступлений, ув­лекает за собою в бездну страстей неопытную невинность и погубляет ее навсегда. Ты, о вечный очевидец истории человечества, зришь с недосягаемой высоты своей, как пороки и злодеяния, переливаясь из семейства в семей­ство, из народа в народ, из века в век, терзают и ничтожат бедное поколение людей. О если бы ты могло возвес­тить виденное тобою с того неизвестного дня, как первый человек вступил на юную еще землю, то какая ужасная летопись раскрылась бы пред очами вселенной!

В самом деле, начиная от заговоров, потрясавших ос­нование целых царств, до мелких плутней взяточника, все дела злобы, подлости и коварства совершались ночью. Так было и в доме Груздева. В горнице его не было огня, и она освещалась только светом луны, падавшим сквозь окна на пол и на стену и рисовавшим две человеческие тени. Сидевшие в сей горнице два человека разговари­вали весьма тихо. Один из них, взяв со стола какую-то бумагу, свернутую в трубку, и развертывая ее, сказал другому!

– Да, брат Лисицын, спасибо Меркулычу: сегодня поутру, чем свет, притащил ко мне и настрочил лихо. Вот слушай! – Он уставил бумагу против света и с великим трудом и остановками начал читать: – «Высокоблагородный и высокопочтенный господин секунд-майор...» Провал его возьми, как пишет связно. К тому же темно: едва разби­раю.

– Ну да титул-то известен, далее-то извольте читать, Фома Яковлевич!

Груздев, хотя и с большим усилием, но, наконец, про­читал бумагу Запекалкина и, отдавая ее своему собесед­нику, сказал:

– На же, возьми да пораньше, брат Лисицын, завтра поутру явись к ревизору. Уж коли начато, так зевать не должно.

– Кажется, я и так не зевал, Фома Яковлевич. Теперь во всем городе так трубмя и трубят, что к Жолобову ог­ненный змей летает...

– Да, брат, спасибо тебе за эту молву. Ты славно свое дело сработал. Ну да кабы я не надеялся на тебя, так, извини, не попустился бы своим деньгам.

– Вы все-таки, Фома Яковлевич, сомневаетесь, что я...

– Ну полно, полно, брат. Теперь это дело прошлое. Если бы совесть-то у тебя была чиста и ты не боялся ямы, так черт ли бы тебе велел слушаться меня и два года вер­теться ужом и жабою перед Жолобовым...

– Помилуйте, Фома Яковлевич. Я, почитай, вырос в вашем доме, облагодетельствован вами, так можно ли мне было отказаться от вашего поручения? Да и что мне стоило притвориться обиженным, обмануть глупого старичишку, пересказать вам несколько его слов и заставить каких-ни­будь старушонок болтать, чего оне сами не знают? Нет, батюшка Фома Яковлевич, не только у меня и на ум ни­когда не приходило причинить вам какой-либо вред, но еще я всеми силами...

– Уж пожалуйста! Я знаю – коли сказать правду, – что ты великий плут, да я лучше люблю иметь дело с плутом, нежели...

– Благодарю, Фома Яковлевич, за похвалу. Вот что называется не в бровь, а прямо в глаз.

– Ну, ну, хорошо! Но теперь толковать некогда. Сту­пай же да подавай скорее. Тогда мы с тобой квиты.

С этим словом окончился разговор двух злодеев, внимаемый одною луною, которая как бы от горести задерну­лась в сие время густым облаком, и в горнице Груздева сделалось столь же мрачно, как и в душе его. Приказчик вышел ощупью, а Груздев лег спать, но сон не приходил сомкнуть его глаз, ибо в душе его, приготовлявшей муче­ние другому, зажглась сама собою несносная, неутолимая мука, начало адской.

Напротив, погубляемый им, но добродетельный Жолобов спал спокойно до самого утра, покамест не был разбужен сильным стуком в его дверь.

– Андрей Иванович! – говорила стучавшая в дверь Домна Сидоровна, – встаньте-ка!

– Что такое сделалось? – спросил Жолобов.

– Сама не знаю, батюшка, – отвечала Домна Сидо­ровна дрожащим голосом. – Встаньте-ка! Какие-то три солдата пришли, спрашивают тебя, говорят, что присланы от ревизора.

Жолобов тотчас догадался о причине прихода солдат, взглянул на образ, перекрестился, встал и начал поспеш­но одеваться. Между тем нетерпеливые посланные, стояв­шие по распоряжению Домны Сидоровны на крыльце, сильно стучали кольцом сенных дверей и требовали нас­тоятельно, чтобы их пустили в сени.

– Сейчас, сейчас, батюшки, – ответствовала им из-за дверей испугавшаяся старушка. – Повремените крошечку, родимые. Он мигом выйдет к вам.

– Ну проворнее бы одевался, не то дверь вышибем!

Наконец Жолобов, одевшись и помолившись богу, за­шел в горницу еще покоившейся глубоким сном своей до­чери, перекрестил ее и, тяжело вздохнув, вышел в сени.

– Послушай, Сидоровна, – сказал он старушке. – Бо­га ради, не сказывай ничего Наташеньке, не перепугай ее. Если спросит, куда я ушел, то скажи, что не знаешь.

Едва вышел Жолобов на крыльцо, как солдаты схва­тили его, связали ему руки и повели как тяжкого прес­тупника в провинциальную канцелярию. С час времени ожидал Жолобов собрания членов, стоя в сторожевской комнате и быв предметом ядовитых взглядов и злых нас­мешек со стороны проходивших мимо его взад и вперед опохмелившихся подьячих. Наконец беганье их унялось, и голос вахмистра возвестил прибытие асессора Скрыпуш­кина, вслед за ним приехал советник Стукаленко, потом губернатор и в заключение ревизор майор Крылов.

С первым из сих членов мы уже несколько знакомы. Он был человек хотя и доброго сердца, но бесхарактерный, слабый и недальнего ума. Бумаг он никогда не читал и под­писывал все, что было подписано другими. Когда же при­водилось подписывать ему первому, то он всегда прибегал к помощи жребия, то есть бросал вверх серебряный алтын: если выпадал орел, то сие значило, что он должен был подписать бумагу, если же решетка, то он призывал обык­новенно секретаря и со всей судейской важностью гова­ривал ему:

– Пересмотрите эту бумагу и поверьте с делом: тут я нахожу много несообразного.

Второй из присутствующих, советник Стукаленко, был человек еще более ограниченного ума, но исполненный безмерной подлости, бесчувственный как истукан к стра­данию других, надменный и дерзкий с подчиненными, осо­бенно не терпевший между ними людей, чему-нибудь учив­шихся или, по крайней мере, любивших просвещение, и именно за сие гнавший Алексея. Между тем низкий интриган и угодник сильных: для денег и для благорасполо­жения начальника готовый на всякую подлость, переносив­ший всякую брань начальника со всей рабской покорностью и не отвечавший на самые нелепые предложения человека сильного иначе, как: так-с, точно так-с; одним словом: пролаз, который

В течение полвека

Все полз, да полз, да бил челом,

И наконец таким невинным ремеслом

Дополз до степени известна человека.

Третье лицо присутствия – губернатор, был добрый и честный человек, но не знавший хорошенько своих ни обязанностей, ни прав и потому легко сбивавшийся с самого правильного своего мнения и терявший начальническую твердость.

Наконец, ревизор Крылов, как описывает его предание, был человек не столько истинно умный, как хитрый, при­том суровый, жестокосердый, высокого роста и самой мрач­ной физиономии. Его наморщенные и всегда сближенные брови означали, что душа его никогда не прояснялась све­том добродетели и любви к ближнему.

Таковы были судьи, пред которых предстал Жолобов.

Ревизор вынул из кармана поданный ему донос на сего несчастного, приказал прочитать его секретарю и потом начал допрос.

Бесчестный агент Груздева, призренный Жолобовым приказчик Лисицын, обвинял сего добродетельного чело­века в сношении с злым духом, носившим будто бы к не­му по ночам в образе огненного змея бочонки с золотом. Сия суеверная клевета сохранилась в народе до сего вре­мени вместе с мнением о неисчетном богатстве Жолобова, являвшемся будто бы иногда в виде оборотня или клада, о чем мы упоминали выше.

Подробности доноса состояли в том, что будто бы в продолжение двухлетнего пребывания своего в доме Жо­лобова Лисицын неоднократно был тайным очевидцем ска­занного явления, что будто бы он однажды застал Жолобо­ва в самое то время, как сей последний пересчитывал принесенные ему нечистым духом золотые монеты, что, нако­нец, Жолобов будто бы упрашивал и подкупал его, Лиси­цына, не объявлять о сем, но он по долгу присяги и совести не может сего утаить и проч.

Жолобов выслушал сей донос со всем спокойствием человека невинного и на сделанный ему вопрос отве­чал:

– С самого детства моего я всегда сохранял в душе своей святую Христову веру, не имел и не имею никакого сообщения со врагом христианства и имение свое нажил трудом и потом, честью и правдою.

– Послушай, старик, – сказал ревизор, – лучше приз­найся! Иначе с тобою будет поступлено строго.

– Да, братец! – прибавил Стукаленко твердым малороссийским наречием, – лучше признаться: повинну голо­ву меч не сечет.

– Я сказал все, – отвечал Жолобов. – Если солгу на себя, буду виноват пред богом. На его одного возлагаю мою надежду: тело мое в вашей воле, а душа в его.

– Замолчи, грубиян! – закричал ревизор громовым голосом, ударив кулаком по столу. – Мы достанем из тебя правды! Позовите доносчика и свидетелей.

Они вошли. Свидетелями были известные уже нам два негодяя, Груздев и Запекалкин, которые бестрепетно при­няли присягу и единогласно утверждали, что точно видели змея, летавшего по ночам в дом Жолобова.

Жолобов при входе сих трех заговорщиков в присутст­венную каморку с чувством какого-то высокого соболезно­вания посмотрел на них и, казалось, думал: «Ах, эти нес­частные губят невозвратно свои души, но прости их, соз­датель!» Потом он спокойно, но сильно доказывал, что свидетельство Груздева не может быть принято, как чело­века, питавшего к нему вероятную неприязнь по причине сделанного ему отказа, и что Запекалкин также не может быть свидетелем, как известный издавна друг Груздева. Напротив, сей последний справедливость свою подтверж­дал тем, что Лисицын вышел от него по ссоре, и, следо­вательно, ему, Груздеву, надлежало бы скорее свидетель­ствовать против него, если бы он хотел нарушить истину. Сии противоречия были поводом к сильному спору между присутствующими. Ревизор, наморщив более обыкновен­ного свои брови, грозно дал знак доносчику и свидетелям, чтобы они вышли из присутствия, а подсудимого велел отвести в темницу; потом, обратись с самым сердитым лицом к губернатору, принявшему сторону Жолобова, как известного ему своею доброю славою, сказал:

– Ваше превосходительство, вы защищаете преступ­ника, тем самым обнаруживаете к нему свое пристрастие и потому не можете участвовать в решении его дела. Ос­тавьте присутствие!

Губернатор, струсив приметным образом, поднял пле­чи, наклонил голову и, всплеснув руками, прижатыми до локтей к туловищу, хотел, казалось, что-то отвечать, но ревизор предупредил его, сказав сердито:

– Оставьте присутствие, и более ни слова!

Слабый губернатор вышел из присутствия, а дерзкий ревизор приказал после сего составить журнал о допросе Жолобова, сказав наперед, в чем должна состоять резо­люция, то есть надлежало определить, чтобы Жолобова, как явственно изобличенного двумя свидетелями, но не учинившего, однако ж, личного признания, подвергнуть для исторжения оного законной пытке, а имение его взять в секвестр. Отдав сие приказание, ревизор занялся рас­смотрением поданных ему просьб, а вместе с ним и дру­гие два присутствующие также занялись каждый своим делом. Советник Стукаленко, желавший выказать пред ревизором свое трудолюбие и письменность, начал чертить с великим скрипом тупым пером давным-давно начатую бумагу и прекрупными словами вывел великое изречение: а по справке! Асессор же Скрыпушкин безостановочно под­махивал прежние статьи журналов, перебрасывая тайком свой непостижимый талисман в выдернутом немного из стола ящике. Наконец секретарь, составив журнал о Жолобове, прочитал ревизору и по приказанию его подал Скрыпушкину для подписания, как младшему члену. Скры­пушкин, хотя по чувству невообразимой робости своей, питаемой к ревизору, готов бы, кажется, был подписать и собственный свой смертный приговор, однако ж для защищения ли себя от упреков совести или по неодолимой уже привычке советоваться с алтыном начал с великой торопливостью и боязнью, дабы не увидел ревизор, переб­расывать его в ящике. Но на сей раз всегда послушный во­ле его алтын как будто с намерением начал дразнить его и все выпадал стороною, которая значила: не подписы­вай – ужасный совет в критическом положении Скрыпушкина! Трижды он принимался метать, и трижды упрямый алтын повторял одно и то же. Еще раз, вопреки всех правил магии, Скрыпушкин решился было метнуть, как вдруг ревизор, взглянув на него исподлобья, грозно спросил:

– Что вы тут копаетесь? Подписывайте проворнее!

Скрыпушкин вздрогнул от сего внезапного вопроса, бросил с ужасом талисман и с величайшей торопливостью расчеркнул под журналом свое бессмертное имя. То же сделали Стукаленко, ревизор – и судьба Жолобова была решена!

Живучи в веке, очищенном от всех ложных понятий, мы не можем ясно представить себе, что такое значил в прежние времена суд, где присутствовало суеверие и доп­рашивала пытка. Правильный суд в России, можно сказать со всею истиною, начался только с царствования премудрой Екатерины, когда были изгнаны из судебных мест дела о колдовстве и уничтожены пристрастные допросы. Но если и после сего невежество и корыстолюбие делали еще из самых священных мест, каковы те, где решается судьба людей, места торжища и притеснения, то вину сего уже надобно было отыскивать в состоянии просвещения той или другой части государства. В Иркутске, например, где училища, хотя и давно заведенные, только с недавнего времени пришли в надлежащее состояние, лучшее дейст­вие судебных мест, естественно, начинается с появлением на поприще службы нового поколения, если не могущего похвалиться еще полным образованием, по крайней мере уже имеющего понятия просвещенные и лучшие наклон­ности сердца. Общий же сильный переворот во всем ходе тамошнего управления последовал в одно время с эпохою изменения тамошнего быта, о которой мы упоминали выше. Гений великого человека пролетел над Сибирью, все обнял своим орлиным взглядом и всему дал новую жизнь. Любя родину, мы желали бы повторить его имя, которое каждый добрый сибиряк не вспомнит без сердечной благодарности; но мы не осмеливаемся на сие, ибо пишем не историю. Пусть она внесет сие незабвенное имя в свои нетленные скрижали!

**ГЛАВА VI**

В то время как производился допрос Жолобова, дочь его, приметив на лице Домны Сидоровны следы беспокой­ства и печали, неотвязно просила ее сказать о причине сего, ибо она и сама чувствовала непонятную для нее тос­ку, как бы предвещавшую какое-то великое несчастие. Добрая старушка, убеждаемая просьбами Натальи, не сумела притвориться и скрыть от нее настоящую вину своей го­рести. Тогда Наталья, пораженная неожиданной вестью, несколько секунд стояла в изумлении и ужасе и потом, набросив на себя накидку, побежала опрометью в провинциальную канцелярию. Испугавшаяся Домна Сидоровна погналась было вслед за нею, крича изо всей силы:

– Наталья Андреевна, куда ты, дитятко? Куда ты бежишь, моя милая? Что ты, Христос с тобою?

Но Наталья ничего не видела и не слышала и продол­жала бежать. Домна Сидоровна, быв довольно тучного сложения, едва пробежала несколько сажен от дому, как запыхалась смертельно и, упершись руками в стену, го­ворила сама себе:

– Ух, ноженьки не несут! Экое пришло времечко. Царь небесный! Без смерти смерть!

Между тем Наталья, добежав до канцелярии, из кото­рой уже выехали все присутствующие, исключая Стука­ленко, задержанного подписанием бумаг, бросилась к нему в ноги и умоляла его о заступлении за отца. Стукаленко, проходивший в сие время по сеням канцелярии, не обратил на ее горесть и слезы ни малейшего внимания, и, когда она в отчаянии обняла его колени, он равнодушно вынул часы, посмотрел на них и с бесчувственностью дерева сказал несчастной:

– Девка, перестань выть! Мне пора домой, первый час. И то просидели пять минут лишку... Подавайте Гнедка!

По отъезде Стукаленко отчаянная Наталья выбежала из канцелярии и пошла с поспешностью к дому ревизора, который в сие время случайно смотрел в окно, расправляя рукою усы. Наталья, увидев его, бросилась на колени и, рыдая, вопияла:

– Сжалься над отцом моим или вели и меня вместе с ним запереть в тюрьму!

Вместо сожаления бесчувственная улыбка показалась на губах ревизора, и он холодно спросил у писавшего в той же комнате какую-то бумагу подьячего:

– Что это за комедия перед окошками?

Подьячий, вскочив на ноги, взглянул в окошко и, вы­тянувшись струною, отвечал:

– Это, ваше высокоблагородие, дочь Жолобова.

– Гм! Она недурна! – проворчал про себя ревизор. – Позвать ее ко мне!

Наталья, войдя в комнату, упала к ногам его и, заливаясь слезами, повторяла свои мольбы.

– Хорошо, голубушка, хорошо! – отвечал глухой к воплям страдания, но не чуждый низких страстей огрубе­лый майор, стараясь принять на себя приятную мину, сколько позволяло сие его нечеловеческое лицо. – Только я наперед тебе скажу: тебе идти домой теперь незачем – там приставлен караул, и тебя не пустят. Ты побудь у ме­ня, а я между тем похлопочу о твоем отце, хотя, сказать по правде, он стоит хорошей виселицы.

Сии варварские слова совсем отняли силу у бедной Натальи, и она сделалась без чувств. Но сие не произвело никакого действия на бездушного майора, и он, взяв ее равнодушно на руки, отнес в другую комнату, положил на софу, потом вышел оттуда и, запирая дверь замком, сказал:

– Очнется! Дайте обедать!

В самом деле Наталья через несколько минут пришла в себя и долго не могла вспомнить, где она и что с нею случилось. Смертельной тоски ее изобразить невозможно, а понимать сию муку может только тот, кто сам испытал сие состояние, когда бедствие подавляет сердце всей своей тяжестью и нет ни малейшей искры надежды. Сия сердеч­ная мука, порождаемая безнадежностью, не может срав­няться ни с каким физическим страданием: оно хуже смерти! И, конечно, человек решился бы немедленно рас­сечь одним разом нить, привязывающую его к сей нес­терпимой жизни, если бы не боялся новой и вечной кары за гробом. Долго была Наталья в сем положении. Потом вдруг затрещала лампадка, горевшая перед образом, и Наталья, взглянув на образ, была поражена его видом: ей казалось, что лик божией матери смотрит на нее с какою-то кроткою укоризною и небесным участием. На­талья соскочила с софы и, встав на колени пред образом, начала молиться с самым пламенным чувством. Сердце ее несколько облегчилось.

Между тем наступал вечер, и в комнате Натальи, слабо освещенной лампадою, становилось темнее и темнее. Тогда пришло ей на мысль скрыться в окно. Но, взглянув на него, она увидела, что подле окон её ходил караульный. Спасения не было! Однако ж она решилась защищаться до последней крайности и, выдернув с великим усилием из стены гвоздь, оставшийся, кажется, после снятого с него образа, заколотила им дверь и сверх сего придвинула к оной большой стоявший в ее комнате сундук. После чего, возложив все свое упование на помощь божию, снова нача­ла молиться. Часу в восьмом вечера, посреди самого усерд­ного и глубокого ее моления, она с ужасом услышала шум шагов, приближающийся к ее дверям.

– О матерь божия! – воскликнула она, упав перед образом, – защити меня!

Ревизор (ибо это был он), подойдя к двери, отпер за­мок, но увидев, что она была приперта изнутри, сказал Наталье, стараясь смягчить по возможности свой грубый и отвратительный голос.

– Отопри-ка, красная девица: мне есть дело перего­ворить с тобою. Отопри же, не бойся!

Наталья, у которой от страха дрожали все жилы, ле­жала почти в беспамятстве перед образом и, не отвечая ни слова, только твердила отчаянным голосом:

– Владычица, защити меня!

Одержимый низкой страстью, дерзкий и решительный злодей, выйдя из терпения, начал ломиться силою. Но дверь, быв сделана по старинному обыкновению из толс­той плахи, противилась его усилиям.

– Что за вздор! – вскричал с бешенством освирепев­ший сластолюбец. – Надо мною смеет издеваться девчон­ка! Нет, я не таков! Позовите людей!

Трудно изобразить ужас и отчаяние, с каким услыша Наталья подходящих к ее дверям нескольких человек. Став на колени перед иконою и ломая себе руки, она вскрикнула:

– Боже, я погибла!

– Не надо отчаиваться! – шепнул позади ее неизвест­ный голос.

Наталья оглянулась назад и не без ужаса увидела в углу комнаты поднятую западню, закрывавшую вход в подполье, ею прежде не примеченное. До половины высу­нувшийся оттуда старик с фонарем в руке давал ей знак молчать и идти за ним. Наталья, узнав в нем старинного приятеля отца своего, немедленно вскочила на ноги и спус­тилась за ним в подполье. Старик, сойдя с лестницы, зажег лежавшие подле оной рогожи, вспыхнувшие с большою силою, и потом, погасив фонарь, вылез в окошко; то же сделала и Наталья. Они очутились в маленьком палисад­нике и потом, выйдя из оного, перебежали поспешно двор, вошли в огород, обнесенный частоколом, и чрез выпавшие частоколины выбрались на улицу, примыкающуюся к дороге, ведущей за Байкал, или за море, и пото­му называющуюся Заморскою. Пройдя вдоль по сей улице, они вышли за городские ворота, потом поворотили и продолжали идти по берегу Ангары, по подошве горы Петрушиной.

В лице сего проводника Натальи читатель узнает уже известного ему заводчика Неудачина, который частью по убеждению своей жены, частью и по собственному чувст­ву горького воспоминания о несчастной своей дочери от­важился на величайшее пожертвование, именно: оставил постройку нового завода и переехал в Иркутск. Но желая по возможности облегчить тоску свою, произведенную сим самоотвержением, он купил в Иркутске дом (отведен­ный под квартиру ревизора) и поставил за священный долг немедленно сломать его и выстроить новый, хотя сказанный дом был еще довольно прочен. В сем намере­нии Неудачин не переходил в него и жил на квартире; но сие, однако ж, не мешало ему знать совершенно располо­жение сего дома, ибо не только своих домов, но и чужих расположение и фасады были главнейшим предметом его внимания. Посему-то, обладая необыкновенной предприимчивостью и твердостью характера, притом не переставая считать себя обязанным Алексею и сохраняя чувство ста­ринной дружбы к Жолобову, Неудачин легко мог придумать средство к освобождению Натальи. Сверх сего, в то же время он принял меры и к спасению ее отца.

По выходе за город Неудачина и Натальи окрестные горы вдруг озарились красным светом. Наши беглецы оглянулись назад и увидели выходящий из средины горо­да огненный столб, пламя которого отражалось в облаках.

– Боже мой! – сказала Наталья, – что вы сделали? Это, верно, горит дом ваш!

– Пусть его! – отвечал хладнокровно Неудачин. – Он был у меня как бельмо на глазу. Уж давно бы его не было, кабы не жена (нелегкая ее возьми!) надоедала мне своими упреками. Теперь – слава богу! – ей привязаться не к че­му: ведь я не сказывал ей, что пошел спасать вас, или, лучше сказать, сжечь этот проклятый домишко. Знаете, какой я выстрою? – Загляденье!

Вскоре после сего разговора Неудачин остановился у ворот полуразвалившейся хижины.

– Идите за мной, – сказал он Наталье, – и ничего не бойтесь: здесь живут люди, которые преданы всей душой вашему батюшке.

Сказав сие, Неудачин постучался у ворот; кто-то мед­ленно, как бы ощупью спустившись с крыльца, отворил их, и Неудачин вместе с Натальею вошли во двор.

Между тем раздраженный ревизор, с помощью приз­ванных людей, выломил дверь в комнате, где находилась Наталья. Дым пробирался сквозь щелей, и вся комната почти была им наполнена. Ревизор был изумлен сим; бросился искать Наталью; растворил подполье – и пламя, вырвавшись оттуда, опалило ему лицо.

– Пожар! – закричал он, отскочив от западни и бросясь из комнаты. – Воды! Воды!

По несчастью, в дверях был большой порог. Ревизор в испуге не видал его и всею своею длинною фигурою гря­нулся на пол. Прочие, запнувшись за него, также попадали друг за другом. Сей поступок подтвердил известную ис­тину, что душа злодеев, бесчувственная к страданию дру­гих, никогда не бывает свободна от низкой трусости, когда самим им угрожает близкая опасность. Не желая, однако ж, обнаружить сего постыдного чувства, ревизор проворно вскочил на ноги и, приняв прежнюю свою гроз­ную мину, закричал на людей:

– Трусы, мерзавцы! Я вас! Проворнее воды! Да вы­таскивать духом мои вещи!

Люди кинулись исполнять его приказание, а он, схва­тив шляпу и шпагу, вышел с поспешностью из дома и дорогою говорил сам с собою:

– Ну, видно, каков корень, такова и ветка! Признать­ся, не ожидал, чтобы она вздумала сыграть такую шутку! Ведь это пахнет... знаешь чем?.. Смертным грешком! А иметь его мне на душе... Да, впрочем, черт ли же ей ве­лел? Я ее посадил не для того, чтобы спалить дом и сжечь себя... Эх пышет пламя из окон!

Таким образом стараясь заглушить голос совести, сей непостижимый голос, ослабевающий, как упреки верного друга по мере нашего невнимания и холодности, тревожи­мый им ревизор перешел на другую квартиру. Там была подана ему опись секвестрованному имению Жолобова. Новая, сильнейшая страсть – корыстолюбие мгновенно сменили прежнюю, то есть сластолюбие, а вместе с тем и внутренний голос, может быть, в последний раз еще пы­тавшийся говорить ему, умолк совершенно. Ах, сердце человеческое действительно есть бездна обширная, неиз­меримая, где обитает неисчислимое множество ядовитых гадов, поедающих лучшие семена небесного блаженства!

Ревизор, рассмотрев сказанную опись, против чаяния своего, не нашел в ней значительных сокровищ: ибо бо­гатство Жолобова состояло большей частью в деньгах, находившихся в руках у разных молодых торговцев, кото­рых он ссужал на честное слово, единственно для разжи­вы их, без всякой лихвы. Посему ревизор, благовременно располагавшийся прибрать лучшую часть имущества Жо­лобова в свои руки, с неудовольствием бросил на стол опись и с яростью вскричал:

– Нет, старик! Ты не обманешь меня! Твоя дочь ускользнула от моих рук, а ты еще в моих! Я из тебя выпытаю...

Но при сем слове он вдруг остановился и, переменив тон своей речи, начал говорить тихо: – Да что пользы? Ведь это сатанинские деньги: только возьми в руки, так они и будут уголья... – После сего опять он несколько за­думался, но потом с решительностью сказал: – Нет, вздор! Старик не тем смотрит! Он совсем не то, что мы, правос­лавные, – сущий раскольник! И если бы он был нищий, то его можно бы счесть за святого... А теперь, хоть бы он был рассвятой, так я сделаю его грешником. Ну, мешкать не­чего, пойду!

Тюрьма, в которой содержался Жолобов, была не что иное, как обширная, деревянная изба с башнею, разделен­ная поперек сенями, из которых по обеим сторонам были двери в конурки, где находились колодники. В каждой из сих конурок стояла скамья, служившая постелью, и простой плотничный стол. Духота и нечистота были главнейшие свойства сих обитателей страдания. Свет проходил в них чрез волоковое окошко, то есть небольшое отверстие, за­гороженное решеткою. Огня не приносили туда, только зарево, разливавшееся от пожара, в сей вечер тускло ос­вещало закоптелые стены.

Жолобов посреди сего полумрака сидел в глубокой задумчивости со склоненною на грудь головою и сложен­ными одна на другую руками.

«Завтра, – он думал, – может быть, подвергнут меня пытке, быть может, я не перенесу ее, и меня не будет более на сем свете! Милосердый боже, конечно, смерть страшна для человека, но жизнь моя в твоей руке: ты ее дал, ты и возьмешь, если захочешь. Я покоряюсь твоей святой воле и молю только об одном: не оставь бедной моей сироты! Она будет здесь без матери и без отца, без крова и без пристанища. Она будет, как лодка без кормила, носимая ветрами. О, как тяжело сердцу!»

Слезы навернулись на глазах Жолобова, и он глубоко вздохнул. После сего вдруг услышал он, что подошли к его двери и отпирают замок. Он несколько затрепетал, но тотчас оправился и, взглянув на небо, сказал:

– Верно, настал мой час! Боже, подкрепи меня!

Дверь отворилась. Ревизор в сопровождении солдата вошел в тюрьму и велел ему, поставив на стол фонарь, выйти вон.

– Старик, – сказал ревизор, – я читал сейчас опись твоему имению и вижу, что ты богатство свое куда-то зап­рятал. Послушай, если не хочешь пытки, скажи мне теперь же о месте да расскажи секрет, как водиться с этою адскою монетою, чтобы она не ускользнула из рук: ты, верно, это знаешь.

– Я никогда не закапывал своих талантов в землю, по слову Писания. Все, что я имел, было употреблено на поль­зу других. Спрятанного у меня нет ничего.

– Старик, – закричал ревизор, – ты все-таки запи­раешься! Признавайся или я велю вытянуть из тебя все жилы, одна за другою!

– Я сказал уже тебе прежде, что тело мое в твоей власти: мучь его, как хочешь, но души своей я не погублю признанием в сообществе с врагом моего господа.

– Знаю, знаю вас, святоши! Губленого губить нечего! Душа твоя уже в закладе, но, по крайней мере, пожалей о своей дочери. Знаешь ли ты, где она?

Жолобов, вздрогнув при сем вопросе, смотрел с ужа­сом на ревизора, не отвечая ни слова.

– Дочь твоя, – продолжал сей последний зверским голосом, – дочь твоя в добрых руках. Не бойсь, не выр­вется, если ты не подставишь ей сам золотой лестницы. Понимаешь меня?

– Кто ты таков? – вскричал объятый трепетом Жолобов. – Человек ли ты или злой дух, пришедший мучить меня? Если в тебе еще осталась одна капля человечества, то сжалься над отцом, перестань терзать мое сердце!

Он упал пред ревизором на колени и зарыдал горько.

– Пустое, старик! Я не люблю этих комедий. Коли желаешь спасти свою дочь, так отдай, чего я требую, – и дело с концом! Иначе сам будешь каяться.

– Клянусь тебе всем, что есть святого, клянусь небом и землею...

– Знаем мы эти клятвы! Ну да толковать мне с то­бою, видно, нечего: тебя, кажется, без пытки не уговоришь. Зато дочь твоя, надеюсь, будет сговорчивее, да если... так мы и не посмотрим на ее упрямство.

Ревизор схватил со стола фонарь и сделал вид, будто бы хочет идти, но Жолобов, выйдя из себя, вскочил в бешенстве с палу и, бросясь на ревизора, закричал:

– Злодей, я не пущу тебя! Упивайся моею кровью, но, пока я жив, ты не будешь ругаться над моею дочерью.

– Что это значит? – закричал ревизор, выдергивая шпагу. – Разбой?

Жолобов, одержимый исступлением, сжимая его своими руками, старался повалить его на пол, но ревизор, выдер­нув шпагу и занеся ее над спиною несчастного, вскричал:

– Так гибни же, старый грешник!

– Изверг! – вдруг раздался в тюрьме неизвестный голос. – Остановись!

Ревизор, удержав удар и взглянув в окно, в котором виднелось бледное человеческое лицо, тускло освещенное лучом, падавшим на него из фонаря, затрепетал, выронил от ужаса шпагу и, вырвавшись из рук Жолобова, поспеш­но выбежал из тюрьмы, закричав:

– Мертвец, мертвец!

Испуг сего суеверного злодея был столь велик, что он бежал по улице без оглядки, как сумасшедший, и даже не оборотился, когда спала с головы его шляпа, задевшая за притолоку в воротах его квартиры. Ему казалось, что привидение гонится за ним с горящим пламенником. Та­кова робкая совесть преступников!

**ЧАСТЬ III**

**ГЛАВА I**

Привидение, испугавшее ревизора, было существо не только нестрашное, но милое, кроткое и несчастное, сло­вом, – Наталья.

Неудачин привел ее в хижину, где жили известные два слепца: Дмитрий и товарищ его, штурман, по имени Коренев. Первый из сих слепцов обладал довольно хитрым, оборотливым умом и необыкновенною памятью. Он легко вкрадывался в характер каждого и, поговори с кем-нибудь один раз, твердо помнил его голос. Посему все почти оби­татели города, особенно между низшим классом, были ему приятели и друзья. Неудачин, составив план освобождения Жолобова, придумал употребить в пользу дарования сего слепца, как преданного сему несчастному и как нищего, который, не навлекая на себя подозрения, мог свободно таскаться повсюду. Дмитрий удачно исполнил сие поруче­ние и подкупил тюремщика и двух солдат провинциальной канцелярии, которые должны были занимать ночные часы, ибо в тогдашнее время военные команды в городах были и малочисленны и плохо устроены. Неудачин рассказал о своем намерении Наталье. Она, зная совершенно правила своего отца, сомневалась, чтобы он решался на бегство, и потому просила Неудачина взять ее с собою, ибо надеялась слезами своими тронуть и склонить Жолобова. Неудачин сначала старался было уговаривать ее, но потом, убежден­ный ее просьбами и доказательствами, согласился, ибо думал: старика-де не скоро уломаешь: ведь он упрям и помешан на чести, а как дочь распустит слезы, так авось.

– Ну, хорошо, – сказал он Наталье, – нечего делать, пойдемте, только вам надо переодеться. Возьмите какой-нибудь ергачишко у Миши. Я также переоденусь. Нуж­но, чтоб нас сочли за его товарищей, иначе не пропустят в городские ворота, а его пропускают с вечерок и в самую глухую полночь.

После сего, приготовившись к походу, наши освободи­тели сели по местам, помолчали несколько времени, помо­лились усердно, особенно Наталья, богу и отправились. Подойдя к тюрьме, они с удивлением приметили свет в каземате Жолобова и, притаясь у стены, старались рас­слушать происходивший в оном разговор. Но когда сей разговор, делаясь громче и громче, превратился в крик, тогда Наталья в нетерпении вскочила на завалину, кото­рою была обнесена вся тюремная изба, и, увидя опасное положение своего отца, в ужасе забыла сама себя и произ­несла уже слышанные нами слова, имевшие магическое действие на угрызаемое совестью сердце ревизора. По уходе сего злодея тюремщик дал знак Неудачину войти в тюрьму.

Жолобов, расстроенный ужасною сценою, ходил взад и вперед по каземату, бренча своими цепями.

– Великий боже! – вопил он отчаянным голосом, всплеснув руками, – спаси и защити дочь мою или отними скорее у меня жизнь, чтобы, по крайней мере, глаза мои не видели сего злополучного мира! Пусть растерзают на час­ти мое тело, пусть прольют кровь мою, о себе не забочусь, но ее пощади, Владыка! Ее сохрани под кровом твоим!.. Но что я говорю? Может быть, в сию минуту уже злодей... Ах, нет сил!.. Я чувствую, что не переживу сего!

Он ослабел и, закрыв глаза, упал на скамью, присло­нившись спиною к стене.

– Батюшка, любезный батюшка! – вскричала На­талья, вбежавшая в сие мгновение в тюрьму и слышавшая последние его слова. – Я здесь! Успокойтесь, ради бога, успокойтесь!

– О боже мой, – шептал Жолобов едва слышным го­лосом, – как расстроена моя душа! Точно слышу голос моей дочери!

– Это я, батюшка! Это точно я! Вы не обманываетесь: точно ваша дочь говорит с вами.

Жолобов раскрыл глаза, с изумлением посмотрел на Наталью, казалось, при тусклом свете разливавшемся в каземате от потухавшего пожара, не мог рассмотреть ее лица и снова закрыл глаза.

Мучительное видение, – говорил он тихо сам с со­бою. – Я не в силах смотреть на него. Сердце мое рас­терзано на части!

– Батюшка, это не видение, а я, ваша дочь, пришла, чтобы спасти вас!

– Как?.. Неужели в самом деле это ты, дочь моя?.. Ужели это ты?.. Ах, дай мне собраться с силами!.. Я уже думал... думал много... Но как ты спаслась из рук этого варвара? Расскажи скорее, расскажи!.. Но нет, прежде обними меня, обними крепче!.. Так, это точно ты!.. Это ты, моя милая дочь!.. Итак, еще господь сжалился над нами! Еще...

– Батюшка, – сказала Наталья, – подлинно господь избавил меня. Он внушил мысли доброму человеку... Бла­годарите за меня Гаврила Васильевича!

При сих словах Неудачин, нарочно стоявший в темном углу каземата, дабы дать пройти первым впечатлениям свидания отца с дочерью, подошел к Жолобову и сказал:

– Благодарить не за что, Андрей Иванович. – Я сде­лал, что было должно. И стыдно было бы мне забыть преж­ние твои одолжения, ведь я от тебя жить пошел!

– Дайте мне отдохнуть, – сказал Жолобов. – Все, что я вижу и слышу, мне кажется сном... Друг мой, старый друг мой! Обними меня!.. У меня нет слов...

– Эх полно, Андрей Иванович! Что за вздор? Ведь и я не без пользы: слава богу, нашел случай сожечь свой проклятый домишко! Он надоел мне как горькая редька, а жена, слышь, перестраивать не давала.

Наталья, рассказав отцу в коротких словах все проис­шествие своего освобождения и намерение своего прихода, прибавила к сему самым убедительным голосом:

– Любезный батюшка, соберитесь, ради бога, с си­лами, если можете! Идите с нами! Или, по крайней мере, позвольте нам: мы унесем вас на своих руках.

– Что ты это говоришь, дочь моя? Неужели в самом деле ты хочешь, чтобы я бежал отсюда, как преступник?

– Да что делать? – подхватил Неудачин. – Кабы на­ши судьи были получше, так оно бы, конечно, честнее было бы дожидаться конца, а теперь ведь не то время: они осуждают правого и виноватого, как ветер потянет, то есть как ревизор прикажет, а он, злодей...

– Не поминай мне об нем, Гаврило Васильевич, при его имени у меня обливается кровью сердце, но все-таки я не могу решиться бежать отсюда – это значило бы явно обвинить себя и оправдать моих пристрастных судей. Бог с ними! Пусть они делают что хотят, если я умру, есть еще жизнь за гробом!

– Батюшка! – вскрикнула Наталья, упав пред отцом на колени и заливаясь слезами. – На кого же оставите вы меня? Сжальтесь надо мною!

– Дочь моя, – отвечал Жолобов, указав рукою на не­бо, – там живет общий всем отец! Он тебя не оставит!

– Ах, батюшка, ради бога!.. Я не отойду от вас! Умру здесь вместе с вами, если вы не послушаетесь меня!

– Полно упрямиться, Андрей Иванович, – говорил Неудачин. – Что за беда, что ты уйдешь от разбойников? Ведь на то бог и ум нам дал, чтобы спасать свою жизнь, когда можно. Добро, кабы осудила тебя сама государыня. Она, матушка, справедлива, а то ведь мошенники просто добираются до твоего имения. Так что делать, как не са­мому о себе смышлять? До бога высоко, до царя далеко!

– Нет, нет, Гаврило Васильевич, я не соглашусь ни за что замарать своей чести...

– Да честь твоя останется цела. Мы напишем жалобу самой матушке царице, и губернатор не откажет всту­питься за тебя.

– Это еще будущее, а я с младенчества привык пови­новаться властям, каковы бы они ни были: несть бо власть, аще не от бога. Начальники грешат – грех остается на них: не здесь, так там от них потребуют строгого ответа!

– Все это хорошо, но все-таки лучше, как выйдешь из этой адской конуры. Пойдем же! Полно упрямиться! Посмотри-ка на дочь-то, ведь ни жива ни мертва!

– Батюшка, дойдемте! Ради бога, пойдемте!

– Нельзя, любезная дочь моя, нельзя! Вот мое тебе благословение! Творец будет твоею защитою! А ты, Гав­рило Васильевич, не оставь ее, если умру я...

– Боже мой! Боже мой! – вопияла Наталья, горько рыдая. – Начто я родилась?

– Не ропщи, дочь моя, ропот есть смертный грех. Не нам судить о делах вышнего. Он устраивает все ко благу. Наша обязанность только непрестанно молиться ему со слезами, ибо сказано: бдите и молитеся...

– Ах, батюшка, – вскричал вбежавший и запыхавший­ся тюремщик, – выходите скорее, кто-то, слышь, бежит сюда, чуть ли не от ревизора.

– Я не выйду отсюда, – сказала Наталья, обняв своего отца. – Коли умирать, я умру вместе с вами!

– Нет, этого нельзя, – возразил тюремщик, – Тогда мне первому кнут, меня первого будут спрашивать, как вы пришли сюда.

– Да и мне достанется, – прибавил Неудачин.

– Поди, любезная дочь моя, поди! Ты не спасешь ме­ня, а погубишь других. Прими мое благословение: да будет над тобою воля господня отныне и до века!

Жолобов крепко прижал дочь свою к своей груди. Наталья была в беспамятстве, и ее принуждены были вы­нести на руках. Отец ее уже не плакал, ибо сердце его замерло. Он смотрел вслед за нею и, когда дверь снова заперлась и забренчал замок, сказал с глубочайшим вздохом:

– Все кончено!

Во всю ночь Жолобов не смыкал глаз: душа его была сильно расстроена. На самом рассвете шум многих лю­дей, столпившихся около его дверей, и стук ружейных прикладов возвестили ему, что наступила роковое время. Он встал со скамьи, возвел глаза на небо и сказал:

– Помяни меня, господи, во царствии твоем!

Двери растворились, вошли пять человек солдат и по­вели в застенок несчастную жертву. Члены провинциаль­ной канцелярии по приказанию ревизора были уже в присутствии, но весь город еще покоился, и на улицах не было никого видно, кроме сумасшедшей Аксиньи и двух известных слепцов. Едва вышел Жолобов из темницы, как Аксинья, подбежав к нему, сказала:

– Ну вот, Жолобов, я тебе правду сказала, помнишь, на Ушаковке: «Пойдем помянем тебя». Вот и привелось помянуть!

– Молись за меня, Аксинья! – сказал тихо Жолобов.

Я вижу теперь, что ты говорила правду.

– Молись! Ха-ха-ха! Эк, что выдумал! Молись за не­го! Теперь надо не молиться, а плясать: ты жил словно, так ты идешь на свою родину. Вот надо будет молиться да плакать, как станет умирать собака Груздев, да делать-то этого тогда будет некому: Аксиньюшка будет тогда спать крепким сном!

Между тем группа приблизилась к воротам застенка, и Жолобов в сопровождении солдат вошел в оные. Вслед за ним также бросилась было Аксинья, но солдат не пус­тил ее и, оттолкнувши от ворот, вскричал:

– Прочь, сумасшедшая! Никого не велено пускать!

– Кто не велел? Вор-ревизор? Скажи ему, что он не­долго наразбойничает здесь! Да и ты скоро околеешь, мо­шенник!

– Типун бы тебе на язык, колдунья! – ворчал солдат, затворяя ворота.

Аксинья, одержимая духом сильного любопытства, может быть, и чувством привязанности к Жолобову, всегда ее ласкавшему, схватив в руки большой камень, взлезла с помощью слепых на тын и пересказывала своим товари­щам, что делалось в застенке. Солдат, не пустивший ее туда, пытался было согнать ее с тына, но она, погрозив ему камнем, сказала:

– Смотри, озорник! Если ты не уймешься, то я тебе разом расшибу пустую твою голову, как кринку.

Солдат, зная, что Аксинья редко не исполняла подоб­ных обещаний, замолчал и оставил ее в покое.

Вскоре после сего раздались в застенке жалобные вопли страдальца. Слепые сняли шапки и, крестясь, мо­лились:

– Укрепи его, господи! Помилуй его, царь небесный!

Сама сумасшедшая пришла в себя, глаза ее прояснились и на лице изобразилась самая живая горесть.

– Ну что теперь делается? – спросил Коренев.

– Волки терзают агнца!.. Вот ведут на последнее мытарство... Связали назад руки... Привязали за руки веревку... Притянули кверху... Межу ног положили доску... На концы стали два солдата... Тряхнулись!.. О! я не могу смотреть!

Сумасшедшая закрыла лицо руками. В таком положе­нии была несколько минут. Между тем раздался сильный вопль, и потом опять все смолкло. Сумасшедшая откры­лась, взглянула в застенок и затрепетала, но вскоре лицо ее, освещенное первыми лучами солнца, загорелось необык­новенным румянцем, какое-то неземное чувство отразилось в ее чертах, и она, обратив взоры к небу, запела торжест­венным голосом:

– Свете тихий святые славы бессмертного отца небес­ного, святого, блаженного...

Слепые, догадавшись о кончине мученика, также запели вместе с нею, стоя ,без шапок и не переставая креститься.

**ГЛАВА II**

Прошло три месяца после смерти Жолобова. Начиная с первых чисел ноября показались морозы, и снег захрус­тел под ногами. С уменьшением дней морозы увеличива­лись и, наконец, наступили самые сильные, по-сибирски – плящие, вероятно, от слова «палящие». Плящих морозов три главных периода: Никольские, рождественские и кре­щенские. С исхода января начинается оттепель. Мороз в Иркутске, особенно крещенский, доходит в иные зимы до 33° по Реомюру. В северных же странах, начиная с Киренска, то есть степеней за 8 от Иркутска к полюсу, редко бывает менее 40° и весьма часто восходит выше. Ртутные термометры уже не действуют, и ртуть совершенно замерзает. Во время тридцатиградусных морозов в Иркутске дома, несмотря на усиленную топку печей, никогда не на­греваются достаточно и снаружи все покрываются кухтою, то есть мелким пушистым снегом. Окна разрисовываются толстыми слоями узорчатой куржевины, или инея. В ком­натах, особенно по ночам, беспрестанно раздается треск лопающихся от стужи бревен, самая земля также с треском раскалывается, и широкие щели расчерчивают в разных направлениях улицы. Воздух частью от тумана долго не покрывающейся Ангары, а частью и от мороза сгуща­ется иногда по утрам до такой степени, что захватывает дыхание. Вообще атмосфера бывает наполнена искрами замерзших паров, по-иркутски – изморозью.

В один из самых холодных дней, в продолжение Николь­ских морозов, незадолго пред праздником рождества, часу в третьем пополудни, народ собрался на берег Ангары и с любопытством смотрел, как огромные льдины неслись с шумом одна на другую, запруживали реку и принуждали воду подниматься выше и выше. Противоположный луг и западная часть самого города были затоплены. В толпе народа сошлись, между прочим, две старухи, из коих одна уже нам знакома, а другая известна только по слуху. Поздоровавшись, они продолжали смотреть на покрытие реки.

– Экая шуга, господи, твоя воля, – сказала одна из старух. – Откуда этакое чудо берется!.. А смотри-ка, Хавронья Пахомовна, ведь льдины-то, матка, словно со дна поднимаются...

– Неужто ты впервые это видишь, Лукерья Сав­вишна?

– Да что-то прежде невдомек было!

– Ну да ты, вишь, живешь-то не подле реки, не то что я, а мое-то ведь дело: и поневоле смотришь, как боишь­ся, чтоб домишко не затопило.

– А случалось ли тебе, Хавронья Пахомовна, заме­чать, бають, что зимой вода теплее, нежели летом?

– Бог весть, Лукерья Саввишна? Как сравнить? А кажись, что к осени все становится теплее. Ходишь иногда летом бельишко полоскать, так ведь ноженьки-та сде­лаются лед-ледом... Ай, матка, нос-то побелел у тебя. Три-ка скорее снегом!

– Да и у тебя ухо-то прихватило, Хавронья Пахо­мовна!

Обе старухи схватили по горсти снегу и начали отти­рать себе одна нос, другая ухо. Подобные явления в Ир­кутске очень обыкновенны, и на улице в большие морозы то и дело видишь побелевшие носы, щеки и проч. Хавро­нья Пахомовна, оттерев ухо и стуча ногами одна о дру­гую, сказала своей подруге:

– Уж пора и домой, Лукерья Саввишна! Что-то мороз начал шибко пробирать! Да не завернешь ли и ты ко мне по дороге? Ведь ты, матка, совсем забыла меня. А у меня в печке кринка с карымским: пойдем, поотогреемся с мо­розу.

Лукерья Саввишна, не меньше продрогшая Хавроньи Пахомовны, была рада сему приглашению. Они пустились почти бегом, то же сделали и многие из зрителей. В до­ме Хавроньи Пахомовны был уже гость, слепец Коренев, также зашедший погреться. По приходе домой Пахомовна занялась приготовлением чая, и несколько чашек, сразу выпитых, развязали язык собеседников.

– Куда ныне торосовато стала Ангара, – сказала Пахомовна.

– Ну хоть торосовато, да все-таки стала, – подхватила Саввишна. – Слава тебе, господи! Авось морозы позатих­нут. А то уж, право, моченьки нет. Ведь, легко ли, с са­мого Николы закрутило да закрутило!

– Да что здешние морозы! – возразил Коренев. – Их можно, как говорится, с хлебом съесть. Ведь теперь и пой­дут дни ясные да тихие, еще лучше, чем летом. А вот в в Питере мороз-то!

– Неужто там больше здешнего? – спросила Сав­вишна.

– Больше-то не больше, а куда мокрее! Так, слышь, насквозь и прохватывает! Ну да и место-то приморское: ветры, сырость. Сегодня снег по колено, а завтра пролив­ной дождь.

– Так, выходит, наша Сибирь-матушка всех лучше?

– Лучше! Ах вы, неразумные! Да знаете ли, как там о здешнем месте думают?

– А как?

– Да так, что здесь-де и снег-то никогда не стаивает, да и люди-то одни лишь каторжные.

– Хе-хе-хе! – засмеялись старухи в один голос. – Пол­но тебе, Петрович! Уж чего ты не скажешь!

В сие время раздался сильный стук под окошком, в котором была вставлена вместо стекла большая льдина.

– Кто там? – вскричала Пахомовна с неудовольстви­ем. – Эх, батька, застучал! Чуть окошка не вышб!

– Льдин-то много! – раздался за окошком токоватый голос. – Другую вставишь!

– Да что там за озорник? Вот я пойду...

– Это я, Пахомовна! Парфенко от Неудачина.

– Ах ты дьяволенок! Да что, леший, что ли, тебя давит, что ты стучишь во всю мочь? Что тебе надобно?

– Прислали, слышь, за тобою. Звали поскорее, веле­ли сказать, что сделалось хуже. Иди же, пожалуйста, не заставь прибегать в другой раз, вишь, какой хиус.

– Ладно! Скажи, что сейчас прибегу.

– А кого ты там пользуешь, Хавронья Пахомовна? – спросила с обычным любопытством Саввишна.

– Да так, почти никого!

– Эх, матка, «никого»! Неужто сказать нельзя? Ведь я не перебью у тебя!

– Ну да одну, слышь, девушку. Просили не сказывать, а моя уж привычка искони век: из избы сору не выносить.

– Конечно, Хавронья Пахомовна, это всего лучше. И я тоже терпеть не могу пересказывать, что в чужих людях делается. Кому какая надобность до других? Всяк Еремей про себя разумей! А что же это, родственница, что ли, какая?

– Нет, не родственница. Да, право, просили не сказы­вать. Сердиться будут.

– Вестимо, Хавронья Пахомовна, лучше молчать: знайку ведут, а незнайка на печке сидит. Старинная пос­ловица! А не с собой ли они привезли эту девицу из-за моря?

– Нет, она недавно у них, кажись, месяца три. Да ты знаешь ее, мне только говорить-то не хочется.

– И не говори Хавронья Пахомовна! Бог с нею! Что мне за нужда, какая там живет у них! Может быть, бег­лая: так, пожалуй, еще и напляшешься. Скажут: зачем не донесла? А как не знаешь, так и...

– Что ты, матка? – возразила несколько испугав­шаяся Пахомовна. – Что за беглая? Это, слышь, дочь покойника Жолобова!

– Неужто? Да ведь баяли, что она сгорела?

– Кабы сгорела, так я не лечила бы ее. Вот уж де­вятый день пошел, как она лежит в огневище, ни рукой, ни ногой пошевелить не может, на человека-то не походит, да и говорит такую околесную! все, слышь, на языке: батюшка да батюшка.

– Знать, кто-нибудь похимастил, – сказала Саввиш­на с притворным сожалением. – Ведь есть добрых-то лю­дей!

– Вестимо, Лукерья Саввишна! На добро-то человека не найдешь, а на зло-то много! Только, пожалуйста, не сказывай же!

– Уж скажу ли я, Хавронья Пахомовна? Ведь ты знаешь меня, слава богу, не первый год!

В продолжение сего разговора Коренев, взлезши на печь, казалось, заснул крепким сном, но сие в самом деле только казалось, ибо, зная тайну Пахомовны и характер Саввишны, он внимательно вслушивался в разговор их и непременно решился предупредить на всякий случай Неудачина. По окончании сего разговора Пахомовна взяла большой туес с водою, прошептала над ним неизвестную молитву и, выйдя из ворот вместе с Саввишною, спешила к бедной Наталье, чтобы лечить ее от уроков, от которых главное средство, по мнению подобных ей лекарок, со­стоит в обливании водою.

Назавтра рекостава утро было прекрасное: небо совер­шенно чистое; заря загоралась на востоке, и свет, в раз­ных отливах вытекая из-за горизонта, разливался по небу далее и далее, поглощая звезды, скрывавшиеся одна за другою; воздух был удивительно приятный для дыхания и совершенно тихий, так что дым из труб поднимался по самой прямой линии и дымные столбы, раскудриваясь в верхних частях, стояли над городом, подобно огромнейшим фонтанам. Одним словом, картина была прелестнейшая, но ею наслаждаться было некому; на улицах не показыва­лось ни одного человека, кроме ехавших за дровами ра­ботников и Лукерьи Саввишны, которой злая, лукавая, низкая и суетливая душа составляла разительную проти­воположность с величием и спокойствием природы. Сав­вишна спешила в дом подобного ей нечеловека – Груздева, дабы скорее сообщить ему любопытное известие, выма­ненное у простодушной Пахомовны.

Груздев, хотя весьма обрадовался сей новости, но искусно скрыл свое удовольствие, дабы не дать Саввишне права на благодарность; и когда сия старуха намекнула ему стороною о своих нуждах, он с притворным неудо­вольствием отвечал:

– Полно, Саввишна! Надо и честь знать! Ты, я чай, помнишь, как взяла у меня рублевик, а дела-то ведь не сделала.

– Эх, батюшка Фома Яковлевич, какую старину вспомнил! Было, да прошло, и миновать можно.

– Ну хорошо, Саввишна, в другое время. Подожди немного: тогда вдруг расплачусь с тобою.

Саввишна, наказанная неудачею за свое мошенничество, пошла от Груздева в самом худом расположении духа, излила на него дорогою весь фиал своего гнева, прибирая разные иркутские брани: пятнало бы тебя, протухлый омуль, хайрус поганый и т.п. Между тем Груздев, не пе­рестававший иметь прежних видов на Наталью, потому что имение Жолобова, как не признавшегося во взводимой на него вине, надлежало отдать ей по наследству, провор­но оделся и отправился к ревизору.

Ревизор по смерти Жолобова, почувствовав неутолимое мучение совести, искал утешения в вине и напивался за­мертво почти каждый вечер. Груздев дожидался долго его пробуждения. Наконец он пробудился, но первое слово его было:

– Сенька! Вина!

Слуга налил ему стакан. Он выпил его одним духом и, сказав «не пускай никого», отвернулся к стене и захра­пел снова. По сей причине Груздев был принужден от­ложить свое посещение до вечера. Ввечеру, когда явился вторично Груздев, ревизор, с лицом опухшим от пьянства и с раскрытою грудью лежал в халате подле стола, на котором возвышалась преогромная миса с пуншем.

– Ну что ты скажешь? – спросил он пьяным и ох­риплым голосом вошедшего к нему Груздева.

– Я принес вам добрую весть, ваше высокоблагоро­дие, – отвечал Груздев, кланяясь ему почти до пола.

– Что за весть?

– Да дочь-то Жолобова...

– Не поминай мне, братец, этого имени! Черт меня впутал в это проклятое дело!

– Да я хотел сказать...

– Ни слова!

– Да я хотел...

– Вон, мошенник!

Груздев, струсив ужасным образом, схватился за дверную скобу и, приготовившись при малейшем дви­жении ревизора выскочить в сени, еще решился попы­таться сообщить ему свое известие.

– Не гневайтесь на меня, батюшка ваше высокобла­городие. Я сказал, что пришел не с худой вестью. Дочь Жолобова, которую весь город считал пропавшею, живым-живехонька...

При последнем слове ревизор бросил на стол быв­ший у него в руках стакан и вскричал:

– Черт меня возьми! Ужели это правда?

– Смею ли солгать пред вами, ваше высокоблагоро­дие!

– Да где же она?

Груздев рассказал ему все слышанное от Саввишны.

– Так это мошенник Неудачин скрывал ее! Добро! Вот я ж его! Я ему покажу дружбу! Эй, Доброкваскин!

Доброкваскин вошел.

– Напиши, братец, теперь же приказ... Тьфу! Голо­ву разломило!.. Слышь, напиши приказ, чтобы этого без­дельника Неудачина нынешнюю же ночь взять под стра­жу и посадить его в тюрьму. Слышишь?

– Слушаю, ваше высокоблагородие!

– Ступай же! А ты, Груздев, постарайся... слышь, постарайся, чтобы эту проклятую девку сейчас же доста­вить ко мне! Полно ей надо мною смеяться!

– Что вы, батюшка ваше высокоблагородие! Какая будет вам от нее прибыль? Ведь она теперь на смертном одре!

– Все равно!

– А я так думал предложить вам повыгоднее...

– Что такое?

– Да вот что, батюшка ваше высокоблагородие, ведь этого товара в городе много: та ли, другая – вам все равно.

– Ну!

– А мой сынишко, Григорий, давно просил меня же­нить его на этой девчонке...

– То есть своя рубашка к телу ближе!

– Нет, не о том речь, ваше высокоблагородие! Я за­бочусь не о своей, а о вашей пользе.

– Спасибо!

– Без шуток, ваше высокоблагородие! Если бы эту девку перевести, например, ко мне в дом и меня сделать бы, например, хоть опекуном...

– Так что же, «например»?

– Так то, ваше высокоблагородие, что я постарался бы именьишко ее поустроить: ведь оно все в разброде.

– Ладно! Я вижу, что ты не промах, да мне какая же польза?

– А вот какая, ваше высокоблагородие: я, вот изво­лите видеть, дал бы вам нынче же вексель тысяч в пя­ток с тем, чтобы когда женится мой Гришка, так запла­тить по нем вам наличными. Согласны ли вы, ваше высо­коблагородие?

– Маловато, правда, да ништо, давай: даровому ко­ню в зубы не смотрят!

Груздев вынул вексель, а ревизор призвал опять Доброкваскина и велел написать ему журнал о сделании над Натальею опекуном Груздева, с полной властью рас­поряжаться оставшимся после отца ее имением. Приказа­ние сие было отдано с такими же пьяными остановками, как и предыдущее. После сего ревизор, зачерпнув снова стакан пунша и выпив его с прежним мужеством, сказал обоим присутствующим:

– Ну, убирайтесь же в омут! Все дела до завтраго! Дело не черт, в воду не уйдет!

В сие время как коварство, злоба и корыстолюбие устраивали погибель бедной Наталье и ее великодушно­му покровителю, Неудачин по решительности своего ха­рактера также не дремал, но принимал должные меры к своему и своей воспитанницы спасению, узнав от Коренева о слышанном им разговоре двух старух, – Неуда­чин знал хорошо Саввишну, знал связь ее с Груздевым, и, наверное, ожидал себе неминуемой опасности. Посему он сделал распоряжение, чтобы Наталью перевести вече­ром в известную хижину слепцов, а сам, дав жене своей нужные наставления, немедленно скрылся из города. До­гадка, его, как нам уже известно, была не неоснователь­на. Едва лишь сани, в которых была уложена Наталья, закутанная в шубы, выехали из дому, как отряд солдат окружил их и остановил лошадь. Противиться было нель­зя, и Наталья была увезена в дом Груздева. Она была в величайшем расслаблении и в беспамятстве. По при­езде к Груздеву ее положили на постелю. Она очнулась, раскрыла глаза, но, увидев новую комнату, сочла сие бредом, и снова закрыла.

Между тем в доме Неудачина производился страш­ный розыск. Все были допрашиваемы, но никто не мог сказать, куда девался хозяин, ибо и в самом деле, не ис­ключая даже и жены, никто не знал сего. Опять была пытка, опять кровь лилась рекою, но мы не будем утом­лять читателя сими картинами, которые были в тогдаш­нее время слишком обыкновенны, и удовольствуемся од­ним психологическим замечанием. Ревизор, убив Жоло­бова, мучился совестью, но не мог удержаться от новых злодейств: следственно, в преступлениях существует ка­кой-то ужасный предел, после которого есть мука, смер­тельная мука, но нет возврата к добродетели!

**ГЛАВА III**

Наступило лето. С оживлением природы оживлялись и силы Натальи, одаренной крепким телосложением и ут­вержденной добродетельным отцом своим в твердом упо­вании на бога. Сердечная болезнь ее, конечно, была не­излечима, но всемогущее время притупило жало горести. И можно ли бы жить человеку на земле, посреди непре­станных утрат и бедствий, если бы самые сильнейшие чувства, самые величайшие потери не изглаживались со временем и действовали непрерывно с одинаковой жестокостью? По мере же того как облегчилось сердце На­тальи, она привыкла смотреть на своего мучителя Груз­дева без особенного отвращения и холодности, ибо частью не знала всего коварства его, а частью прощала ему по врожденной доброте своего сердца. Вместе с ним она привыкла к порядку или, лучше сказать, к беспорядку, заведенному в его доме, и исполняла его приказания да­же с некоторым усердием. Так, например, она должна была поочередно с Маланьею вставать на рассвете и ра­зогревать для опекуна своего чайник.

Приметив сию благоприятную перемену в поведении Натальи, Груздев, наблюдавший внимательно за ее по­ступками, счел, что наступила пора ему снова действо­вать. Он призвал своего сына.

– Послушай-ка ты, повеса, – сказал он Григорию, – ты ведь о деле не думаешь. Только лытаешь по худым домишкам да мухлуешь деньги. Все отец заботься о твоей пользе!

– Что прикажете, батюшка?

– Что прикажете! Ну вот у нас в доме почти уж с год, как живет дочь Жолобова, а ты, чай, и не думаешь постараться, чтобы...

– Чтобы приласкаться к ней? Да черт к ней прилас­кается! Она, как подойдешь к ней, словно медведь взгля­нет, да и слова-то не добьешься!

– Осел! Тебе бы тяп-ляп да и клетка! Раз не уда­лось, попытайся в другой, в третий. Пошел же! Я и слу­шать не хочу отговорок. Да вели позвать ко мне Саввишну.

– Чтоб тебе издохнуть, старому псу, – ворчал Григорий, выходя из дверей.

– Что ты там ворчишь, шельма?

– Ничего-с, батюшка!

– То-то, ничего-с! Смотри, чтобы я по-ономеднишнему не привязал тебя за ноги к матице да не отодрал розгами!

Вскоре после сих нежных объяснений отца с сыном пришла Саввишна.

– Что изволите, батюшка Фома Яковлевич! – сказа­ла она, войдя в горницу.

– Ба! Ты уж здесь! Как так скоро?

– Да шла, батюшка, мимо, в гости к Пахомовне.

– Саввишна, я у тебя в долгу, но сослужи мне еще службу, так и расплачусь с тобой вдруг, как я сказал те­бе прежде.

– Извольте, батюшка Фома Яковлевич! Я всегда го­това служить вам чем только могу.

– Ну да я большого-то от тебя не требую. Вот что, не знаешь ли ты кого-нибудь приезжего из Нерчинска?

– Как не знать, кормилец!

– Так, я не сомневался, что ты знаешь. Ведь тебе все в городе известны наперечет.

– Есть тот грех, Фома Яковлевич! Да что делать? Ведь мое-то дело сиротское!

– Хорошо, хорошо! А кто этот приезжий?

– Сват мой родной, Лука Силыч Суриков.

– Разумеется, человек честный?

– Вестимо, что честный, Фома Яковлевич, только попивает немного и с похмелья готов – прости госпо­ди! – продать за алтын отца родного.

«А ты и без похмелья продашь за грош мать и отца вместе», – думал Груздев, но, не обнаружив сей мысли, продолжал:

– Такого-то мне и нужно! Выбери, Саввишна, вре­мя, когда у него не будет денег на похмелье, и тогда по­торгуйся с ним. Все дело в том, чтоб отнести к старухе Сидоровне, ну знаешь, у которой воспитывался Алешка Кремнев.

– Уж как мне не знать, батюшка Фома Яковлевич!

– Так отнести к ней вот это письмо и сказать, что от Кремнева. Тут он уведомляет старуху, что женился на...

– Неужто в самом деле, родимый?

– Ну в самом ли, не в самом, все равно, только ес­ли хорошо он сделает это дело, так получит от меня це­лый штоф с полынью да в придачу два рублевика; а те­перь пока отдай ему этот полтинник, да и тебе в зада­ток вот еще другой.

– Благодарствую, батюшка Фома Яковлевич! Поло­житесь на меня, как на каменную стену: все будет по ва­шему желанию.

Расставляя сии сети, Груздев с одинаковой целью старался улучшить состояние Натальи. Прежде не было позволено ей, под крепким запрещением, видеться со своею нянею; но с некоторого времени последовало разре­шение, и няня, хотя непременно при свидетелях, могла, однако же, видаться с Натальею. Сверх сего посещала Наталью дурочка Аксинья, приходившая ежедневно к огороду Груздева, обнесенному частоколом.

Несмотря на помешательство Аксиньи, Наталья находила в свидании с нею особенное удовольствие, причину которого может понять только тот, кто, быв вырван бурею обстоятельств из родимого круга, встречал потом не толь­ко человека, но хотя какую-нибудь вещь, напоминавшую ему о минувшем счастии. Сии свидания были еще и потому весьма приятны для Натальи, что она могла разговаривать с Аксиньею без своего надсмотрщика. Должность сию исп­равляла с великой точностью и по приказанию Груздева Маланья. Она как тень следовала за Натальею и сначала смертельно надоедала сей последней, но потом Наталья са­ма старалась неразлучно быть со своим Агрусом. Брат Маланьи, частью исполняя благие наставления своего отца, а частью по собственному побуждению, родившемуся в его развратном сердце вместе с поправлением здоровья Натальи, не давал ей, так сказать, проходу и беспрестанно за нею волочился. В сем положении единственною защи­тою Натальи была ее приставница. Быв старее брата дву­мя годами, она с досадою смотрела на расположение отца женить его прежде выдачи ее замуж и всячески старалась сему препятствовать. Чем неотвязнее становился Григорий, тем она была бдительнее и даже носила всегда с собою суковатую палку, которою потчевала своего братца, когда его пламенная страсть готова была переступить границы благопристойности.

Однажды в жаркий июльский день, после обеда, ча­су в четвертом, Наталья одна лежала на скамейке подле тыковника в огороде Груздева. Вид огорода был довольно приятный. На грядах с морковью, с огурцами и проч. были насажены, по общему иркутскому обыкновению, подсолнечники, бархатцы и астры Наталья смотрела сперва на цветы с удовольствием, но потом какое-то грустное чувство обдало ее сердце.

«Им цвесть недолго, – подумала она. – Придет зима, и этих цветочков не будет! Так отцветают и люди. Где теперь моя любезная матушка? Где мой бедный родитель? Ах! Может быть, и Алексей...» Она тяжело вздохнула и взглянула на небо, на котором по совершенно ясному го­лубому пространству протягивалась на восточной стороне гороподобная гряда огненно-желтых облаков1 Величественный вид их поразил Наталью. Она начала смотреть на них с величайшим вниманием и замечала их чудесные из­менения. То животные, то человеческие фигуры состав­лялись попеременно из их массы. Воображение Натальи унеслось за пределы вероятности; ей казалось, что она ви­дит в облаках образ отца и Алексея. Она долго глядела на милые лики, наконец глаза ее сомкнулись, и те же ви­дения предстали пред нее в обители сна.

Между тем сын Груздева, сидевший в сие время на банной крышке с большим запасом огурцов и моркови, приметил, что Наталья была одна, и, притаившись, ожи­дал, не уснет ли она. Когда ожидание его исполнилось я Наталья действительно заснула, низкая чувственность овладела его душою. Он слез с бани, дабы непременно воспользоваться во что бы то ни стало благоприятною минутою. В пылу сильной страсти он не приметил, что непримиримый враг его, Маланья, в сие время вошла в огород и, завидев его предприятие, бросилась проворно в борозду, проползла по ней с величайшей поспешностью до тыковника, наблюдая из борозды за его действиями, приблизила к себе свою палицу и выжидала только вре­мени, чтобы сделать на него нападение. Уже он подошел к Наталье, уже занес было на нее руки и приблизил к ее устам свои святотатственные губы, как вдруг Маланья с быстротою вихря выпрыгнула из борозды и нанесла ему жесточайший удар по спине. Григорий в остервенении бро­сился было на нее и хотел выхватить дубину, но она, от­скочив назад на несколько шагов, напала потом на него еще с большей яростью и колотила его дубиною, не разбирая места. Наконец Григорий, не быв в состоянии ни оборониться от нее, ни вынести побоев, кинулся бежать. Маланья за ним, он было к воротам, но ворота по влиянию злого рока неизвестно кем были заперты со двора, не бы­ло нигде убежища, кроме колодезного столба, или бабы, на которую он и взобрался проворно по приделанным к ней спицам. (В прежнее время в Иркутске почти в каждом доме колодез­ные машины состояли из высокого столба, или бабы, и укреплен­ного на нем рычага, или жеровца, к которому привешивалась ба­дья, или цепня.) Маланья остановила здесь свое преследова­ние, но не сражение, которое с сего времени приняло вид артиллерийского, именно: Маланья начала поражать своего неприятеля комками земли, сопровождая каждый удар жестокою браныо.

Наталья, разбуженная сею дракою, сначала было ис­пугалась, но потом едва могла удержаться от смеха, смотря на забавное положение Григория, который, тщетно укры­ваясь за столбом от ударов Маланьи, наконец начал са­мым жалобным голосом просить у ней перемирия. Маланья была неумолима. Две сильные страсти волновали ее душу: ревность и злоба, питаемая ею к брату еще со времени из­вестного происшествия на аванпосте, после которого она вытерпела от матери за неудачный караул сильную таску. Григорий видел, что огонь неприятельский не прекратится еще долго, а между тем он уже выбился из сил. В сем кри­тическом положении он решился на самый отважный сальто-морталь, т.е. соскочил с колодезного столба, быв­шего сажени четыре вышиною, в соседственный огород. Наталья ужаснулась.

– Боже мой! Ваш брат, наверное, убьется! – сказала она Маланье.

– А черт с ним, таковский был! – отвечала сестра.

Но Григорий соскочил счастливо, и большой ком зем­ли, попавший в самое лицо Маланьи, был вестником, что неприятель еще жив. Маланья ответствовала сильною бранью, но решилась окончить битву, ибо вспомнила, что мать послала ее позвать Наталью.

– Ах, я ведь и забыла сказать тебе, связавшись с этим дьяволом, – говорила она Наталье, – матушка тебя велела позвать. Пришла старуха Сидоровна, принесла какое-то письмо.

Услышав слово «письмо», Наталья переменилась в ли­це. Она знала, что няне, кроме Алексея, получить письмо было не от кого. Радость и страх поразили ее сердце. Она пошла поспешно в горницу и почти не слыхала слов Ма­ланьи, рассказывавшей дорогою о причине драки ее с братом.

**ГЛАВА IV**

– Пташечка ты моя перелетная, – говорила Домна Сидоровна плакавшей горькими слезами Наталье, – ради господа самого, не круши ты свое сердечушко! Ведь ты, моя радость, найдешь еще жениха-то и во сто крат луч­ше. Ведь белый-то свет не клином вышел!

Наталья, облегчив слезами свою тяжкую горесть, по­разившую сердце ее по прочтении рокового письма, ска­зала своей няне:

– Не заботься обо мне, любезная нянюшка! Я, слава бо­гу, теперь совершенно спокойна. Я ожидала этого. И если Алексей будет счастлив с другою, то и я буду также счастлива.

Простясь с нянею, она ушла в свою горницу, долго и пламенно молилась пред образом Иисуса, изображенного в темнице, и потом сказав: «Боже, благослови мое наме­рение!» – взяла перо, написала маленькую записочку и, спрятав ее в карман, вышла из горницы с лицом совер­шенно спокойным.

Груздев, внимательно замечавший состояние Натальи, не без особенного удовольствия видел, что она перенесла известие о женитьбе Алексея с довольной твердостью и что лицо ее не показывает большой скорби. По сей причи­не на другой день по сообщении ей сказанного известия он не усомнился предложить ей выйти за своего сына и, сверх чаяния, со стороны ее не встретил никакого проти­воречия.

При выходе из горницы Груздева, отворяя дверь, На­талья сильно ударила ею в лоб Маланью, которая под­слушивала разговор Натальи с ее отцом. Удар был так силен, что Маланья упала от него навзничь, однако ж, как привыкшая с малолетства к подобным сюрпризам, она сохранила присутствие духа и старалась уверить На­талью, что шла именно к ней, чтобы известить ее о при­ходе Аксиньи. Наталья приметно обрадовалась сему из­вестию и поспешно пошла на свидание с Аксиньей. В сей раз она говорила с нею более обыкновенного, и Аксинья, пойдя от нее, сказала:

– Ладно, ладно. Наталья! Я отдам не хуже другого, даром что меня дразнят сумасшедшею.

Но едва она отошла на несколько шагов от частокола, как раздался ужасный удар грома, хотя тучи не было вид­но, и только небольшое облако задернуло солнце. Аксинья воротилась к частоколу.

– Наталья! – вскричала она, – ты слышала? Ведь это он говорит со мною: «Аксинья, пора!» Прощай же, На­ташенька! Не поминай лихом.

Наталья, взглянув на Аксинью, увидела внезапную перемену в ее лице: ни одна черта не показывала в ней сумасшествия, и последние слова были произнесены ею с удивительным чувством, произведшим глубокое впечатление на душу самой Натальи.

Вскоре по уходе Аксиньи набежали черные тучи на го­род, прорываясь одни под другими. Нижние слои едва не касались колоколен. Молния ослепляла глаза. Невообрази­мый треск грома рассыпался подобно падающим утесам. Дождя не было долго, но наконец он с величайшим шу­мом излился не каплями, но целою массою, как водопад: за три сажени нельзя было ничего видеть. Наталья с ужа­сом представила положение сумасшедшей.

«Ах, боже мой! – думала она, – как-то дойдет Ак­синья!» Но ливень продолжался не более часа, потом небо опять прояснилось и неизмеримая дуга развернулась на восток. С окончанием грозы окончились и опасения На­тальи.

Между тем Груздев, получив неожиданное согласие ее, спешил приготовлениями к сговору, назначив быть ему непременно через два дня. И хотя жена его пыталась было ему возражать: никак-де не успеешь всего перемыть да все приготовить, но он решительно сказал ей:

– Я этого слышать не хочу. Хоть тресни, а все долж­но быть приготовлено. Куй железо, пока горячо.

Таким образом, в доме Груздева началась страшная суматоха, везде мыли, скребли и чистили, и одна только горница хозяина осталась неприкосновенною. Сам Груздев находился также в страшных хлопотах, перебегая из амбара в амбар для выдачи съестных припасов, и беспрестанно бранился с женою при каждом ее требовании, подозревая, что она берет втрое более, нежели сколько нужно. Сказы­вают, что последствия действительно оправдали его подоз­рения и что жена его в самом деле долго продавала тай­ком разные жизненные продукты, оставшиеся после сго­вора. Наконец настал сей давно желанный Груздевым день, которого добивался он, не жалея своей души и не думая о нескончаемом дне вечности. К несчастию, в мире Груздевых много!

В день сговора Наталья была в великом рассеянии и беспокойстве. Несколько раз ходила она в огород и с не­терпением смотрела сквозь частокол, не идет ли Аксинья, но ее ожидания были напрасны: Аксинья не приходила, а между тем уже наступал вечер. Наконец пришло время одевать невесту. Несколько девушек с радостью принялись за сие и весело разговаривали между собою, удивляясь печальному виду Натальи.

– Полно тебе печалиться, подруженька, – сказала Наталье одна из девушек. – То ли время сегодня! Надо бога благодарить, ведь ты выходишь не за ни­щего!

– И конечно надо благодарить, – подхватила другая, – а не то бог-то, пожалуй, стукнет, так...

– Ах, девки, – прервала третья, – вот уж стукнуло-то третьего дня! Ах, мои матушки, какая гроза была! Я, слышь, забилась в подушки да и головы-то поднять не смела.

– Так ты и не видела, какой дождь тогда шел? – спросила четвертая.

– Как не видать! Ведь уж как дождь-то пошел, так гром позатих. Батюшка тогда же поехал на мельницу. Быть беде, сказал он; верно, Ушаковка разыграется и прорвет плотину. Так и случилось.

– А что же прорвала?

– Как же! Ведь, слышь, мигом прибыла, так через плотину и начала хлестать и разом прорыла себе дорогу. Речка сделалась не меньше Ангары, и вода бежала с такою быстротою, что с корнем вырывала деревья и ворочала жерновые камни.

– А слышали ли, девы, – спросила сидевшая в той же горнице Домна Сидоровна, – ведь, говорят, какой-то человек в это время переходил через Ушаковку по мост­кам?

– Боже мой! – воскликнула Наталья, сохранявшая до сего глубокое молчание. – Это, верно, Аксинья!

– И то говорят, – подхватила Сидоровна, – что ви­дели какую-то женщину и что только она взошла на мостки, как вдруг их подняло водою, и она едва успела перекреститься.

– О матерь божия! – сказала Наталья, тяжело вздыхая. – Что мне осталось делать?

– Успокойся, моя милая, успокойся! – говорила Дом­на Сидоровна. – Ведь тебе Аксинья не мать родная! Ес­ли и в самом деле утонула она, этому надо радоваться: ее жизнь была не красная, и, верно, на том свете она бу­дет счастливее.

– Да бог весть, еще она ли это, – возразила тут же бывшая Лукерья Саввишна. – Поговаривают, будто сынок-то ее любезный с пьяных глаз так поколотил ее, что...

– Полно тебе, Саввишна! – сказала приметно испу­гавшаяся Домна Сидоровна. – Уж статошное ли это де­ло! Да это и подумать-то страшно!

– Страшно, не страшно, да говорят, так и я говорю.

– Проворнее оболокайте, – сказал поспешно во­шедший в комнату Груздев. – Ревизор приехал. *(Оболокать – одевать.)*

При слове «ревизор» Наталья едва не упала в обмо­рок. Она закрыла лицо руками, просидела в таком поло­жении несколько минут и потом, вставши с неожиданною твердостью, сказала тихо:

– Господи, укрепи меня!

Мы не будем описывать церемониала, происходивше­го на сговоре, потому что оный почти совершенно сход­ствовал с обрядами, рассказанными при описании сгово­ра в доме Жолобова. Были только две главные отмены, сделанные в угождение ревизору: во-первых, после де­серта накрыли ужин и, во-вторых, после ужина готови­лись начать пляску, для которой и были приглашены известные нам артисты Дмитрий и Коренев, так же увесе­лявшие гостей во время ужина своею игрою и пением, как и на капустке у Жолобова, С начала ужина все гос­ти сидели тихо и мирно, частью следуя молчаливой бла­гопристойности тогдашнего времени, но более из благо­говейного подобострастия к знаменитой и грозной осо­бе ревизора. С половины стола уста, наэлектризованные частым прикосновением рюмок, начали разверзаться, и наконец заговорили все, и никто не слушал. Разговоры были столько же разнообразны, как звание, возраст и пол беседующих. Наталья, занятая собственною судь­бою, почти не думала о происходившем вокруг нее; но один разговор двух купчих привлек ее внимание. Он на­чался с бывшей недавно грозы и опять кончился на уто­нувшей женщине при разлитии Ушаковки. О последнем предмете начался между ними спор. Одна уверяла, что это была точно дурочка Аксинья, другая, напротив, ут­верждала, как говорится, лезя из кожи, что это была не Аксинья и что Аксинью в тот день уже после грозы ви­дел ее работник в городе. Первая возражала на сие тем, что и Аксинья с того дня неизвестно куда пропала и, по словам сына, домой не являлась. Вторая, в опровержение сего, подтверждала подозрения Саввишны. Спор их де­лался было сильнее и сильнее, как вдруг их внимание было отвлечено общим движением гостей. Груздев, то и дело выбегавший из-за стола со связкою ключей в свои погреба за стародавними наливками, принес в сие вре­мя огромную бутыль вишневки.

– Ваше высокоблагородие, – сказал он, подошедши к ревизору, – не соблаговолите ли выкушать по нашему старинному обычаю за здоровье жениха и невесты?

Ревизор, в продолжение вечера осушивший уже не­сколько стаканов пуншу и бокалов наливки, но сидевший еще довольно твердо на стуле, принял безоговорочно предложение Груздева.

– Ну, лебедка! – сказал он, встав на ноги и обратясь к Наталье с видом явного неуважения. – Твое здо­ровье! Да что ты не глядишь на меня? Ведь мы, кажет­ся, видались где-то! Я чай, ты не забыла меня? Может быть, и еще встретимся... Ну, гляди же на меня!

– Взгляни на его высокоблагородие! – говорил На­талье подбежавший к ней Груздев. – Не дичись!

Наталья, волнуемая страшными воспоминаниями, не могла решиться поднять глаз своих на ревизора, как на изверга, как на виновника всех ее бедствий и убийцу отца.

– Я не могу глядеть на него, – отвечала она тихо Груздеву.

– Что за «не могу»? – говорил ей так же тихо оз­лившийся бездушник. – Гляди непременно! Я хочу это­го!

– Ты хочешь? Хорошо! – сказала ему твердым го­лосом Наталья, пришедшая от слов его в сильное исступ­ление и потом, обратись с пылающим лицом к ревизо­ру, спросила его отчаянным голосом: – Убийца моего отца, ты еще ли не насытился нашим мучением?

Ревизор, сколь ни был пьян, но затрепетал при сем ужасном вопросе, быв поражен с тем вместе чрезвычай­ным сходством лица Натальи, с ее отцом, которого об­раз носился беспрестанно в его расстроенном совестью и пьянством воображении. Он раскрыл рот, хотел, каза­лось, что-то сказать и остался в сем положении, уставив на Наталью неподвижные взоры. Положение его не переменялось. Все смотрели с ужасом на сию безмолвную сце­ну. Но вдруг лицо ревизора почернело как уголь, трепет в членах его увеличился, и он повалился на стул. Груз­дев было бросился помогать ему, но он, собрав послед­ние силы, дал знак рукою не подходить к себе и шептал умирающим голосом, задыхаясь от клубившейся изо рта у него пены:

– Не подходи, страшный призрак! Не увеличивая моей муки! Адский пламень уже пожигает мою внутрен­ность!

Пораженные ужасом, гости оставили ужин. Все жен­щины выбежали опрометью в другую комнату, исключая одной Натальи. Она остановилась у дверей и сколько с ужасом, а не менее и с сожалением еще раз взгляну­ла на издыхающего убийцу и с тяжелым вздохом ска­зала:

– О, как тяжело умирать грешнику!

Голос Натальи был услышан слепцами, подле нее сто­явшими. Один из них, именно Коренев, дернул ее за пла­тье и сказал самым тихим голосом:

– Наталья Андреевна! Вот записочка. Мне отдала ее жена.

Наталья с поспешностью ухватила записку и мгновен­но выбежала из комнаты.

Между тем сцена припадка делалась страшнее и страш­нее. Мучение больного беспрестанно увеличивалось. Он упал на пол и, поедаемый внутренним огнем, катался в смертных судорогах, сопровождавшихся скрежетом зу­бов. Сверх сего физического мучения нераскаянный греш­ник чувствовал и страшные мучения неумолимой совес­ти: он видел вокруг себя повсюду кровавые тени и явле­ния злых духов, летавших около него с адским хохотом, и глухим, гробовым голосом вскрикивал время от време­ни:

– Отойдите, мучители, отойдите!

Все бывшие при сем ужасном зрелище стояли с по­бледневшими лицами и с устремленными на страждуще­го глазами в страхе и оцепенении. Наконец Груздев, хо­тя и более прочих струсивший по причине нечистоты своей совести, собрался, однако ж, с духом, ибо счастли­вая мысль блеснула в его голове.

– Господа, – сказал он, – отнесемте господина ре­визора на постелю, а ты, Григорий, сбегай проворнее за Пахомовной.

Гости поспешно исполнили сие предложение, и потом Груздев, начав хлопотать около ревизора с необыкновен­ным усердием, успел вытащить у него из кармана бу­мажник, в той надежде, нет ли в нем данного им ревизору векселя. Но лишь только он сделал сие, как ужас зри­телей дошел до величайшей степени. Черный густой дым, сопровождаемый нестерпимым смрадом, начал вырывать­ся клубами изо рта, ноздрей и ушей умирающего, и члены его, чернея один за другим, загорались синим пламенем, превращались в уголь и рассыпались. Наконец от сего высокомерного и лютого человека, за час не полагавшего границ своим наглостям, осталась одна куча пепла!

Пораженный сим необыкновенным явлением, Груздев едва не выронил из рук украденного бумажника: волосы его стали дыбом, и он дрожал как в лихорадке. Собствен­ная кончина представилась в его уме, и с нею предстали и все ужасные злодеяния, свершенные им в жизни. В сие мгновение он близок был к истинному раскаянию, к при­мирению с небом, но только что близок, ибо долголет­няя привычка ко злу редко оставляет заполоненное ею сердце, и с окончанием внезапных потрясений грешник опять вступает по-прежнему на проторенную дорогу.

Сильная суматоха и хлопоты, произведенные страш­ной смертью ревизора, продолжались всю ночь. Все умы были заняты сим явлением. Наконец по естественному порядку все более и более успокаивалось. Обыкновенный ход вещей получил свое действие, и тогда только в доме Груздева было примечено, что нигде не было видно На­тальи. Началась суматоха нового рода. Обыскали все углы в доме, обегали все улицы, осмотрели все дома, в ко­торых, по мнению Груздева, могла она скрыться, но все поиски были напрасны. Не было человека в доме Груздева, который бы в них не участвовал, не исключая даже шестидесятилетней няньки его детей. Сия последняя, встретясь в воротах с Григорием, изъявила ему искрен­нее сожаление.

– Экая втора! Господи боже мой! Куда это она де­валась? Словно в камский мох провалилась!

– Найдется! – отвечал равнодушно Григорий.

– Дивья кабы!

– А и не найдется, так жалеть не о чем! Ведь старик-от меня принудил, а сам-то я и не думал: один хлеб приедается!

– Что ты говоришь, дитятко? Какую же тебе надоб­но? Уж она ли еще не щепетка.

– Щепетка, да есть их много!

В сие время Маланья, услышав голос брата, высуну­лась до половины в окошко и закричала ему с громким хохотом:

– Ну что? По усам текло, а в рот не попало!

– Молчи ты, ворона! – вскричал брат ее.

Маланья ответствовала новою бранью, и ругательству их не было конца, но мы, предоставляя им полную сво­боду упражнять свой язык, поспешим возвратиться к Алексею, которого мы за три года пред сим оставили на дороге в Нерчинск.

**ГЛАВА V**

Нерчинск, самый отдаленный и маленький городок на юго-восточном краю Иркутской губернии, без сомнения, известен по имени своему всем обитателям России. Он хотя гораздо далее, нежели Иркутск, но основан несколько прежде при соединении реки Нерчи и Шилки, кото­рая, сливаясь с Аргунью, образует славную реку Амур. Находясь на сем месте, Нерчинск был подвержен частым наводнениям, из которых самое сильное было в 1789 го­ду. После сего он перенесен на новое место, в четырех верстах от прежнего находящееся и называемое Сажиков Яр. Тут Нерчинск выстроился гораздо лучше, нежели прежде, даже украсился каменными домами, но с тем вместе утратил прадедовские нравы, о которых одна нерчинская хроника воспоминает с превеликим сожалением.

Уезд сего города, особенно же граничащий с ним Амурский край, заслоненные от севера Яблонным хреб­том, имеют климат самый теплый, самый благорастворен­ный, почву самую хлебородную и удивительное изобилие в произведениях природы. Тамошние горы известны уже своими богатствами; обширные луга изобилуют самыми плодоносными нивами и тучными пастбищами; неизмери­мые леса – драгоценными пушными зверями; реки – неисчерпаемым множеством рыб, между коими есть ог­ромнейшие белуги, в Сибири именуемые калугами. Са­мая же приятнейшая и хлебороднейшая страна лежит по р. Онону, коего живописные берега убраны красивым ши­повником, боярышнею, благовонным тополем, сибирскою яблонью и персиковыми деревьями.

Сие изобилие и богатство Заяблонного края некогда привлекали туда тех храбрых людей, которые, бесстраш­но сражаясь с целыми народами и с лютостью самой природы и погибая в безвестности посреди дремучих ле­сов и диких пустынь, покорили России в восемьдесят лет осьмую часть целого земного шара. Первый письменный голова Поярков, наслышавшись о богатстве Даурии, под­нялся в 1644 году по Алдану с армиею из 130 чело­век (!) состоявшею, для завоевания нового царства и до­стиг Амура. Перейдя чрез Яблонный хребет, он был изумлен разностью страны, ему представившейся, с пройденною до перехода чрез горы. Весть о сем быстро раз­неслась между завоевателями, и сильное желание поко­рить Амурскую землю закипело в сердцах неустраши­мых. Люди, исполненные силы и отваги, Хабаров, Наги­ба, Степанов, бились насмерть, не жалея жизни для бла­га и славы отечества.<...>

Впоследствии времени <...> завоеватели перешли в Нерчинск и составили большую часть обывателей сего города. У одного из них, именно у Еремея Хабарова, ос­тановился Алексей по приезде в Нерчинск. Еремей, сын славного Хабарова, упомянутого выше, участвовал во всех походах отца своего и имел отроду более ста двад­цати лет, но был свеж и крепок, так что находил еще великое удовольствие бродить по лесу за грибами. Сын его, Прокопий, бывший восьмидесяти лет и также весь­ма бодрый и крепкий, незадолго перед приездом Алек­сея возвратился из Анадырска, где сражался под коман­дою храброго майора Павлуцкого.

Дом Хабарова состоял из одной избы с русскою пе­чью, находившеюся при входе на правой стороне. Печь была обращена устьем к окну, и между нею и окном был укреплен пересовец, то есть нетолстая жердочка, на ко­торой висела шерстяная занавеска, служившая вместо перегородки и отделявшая от избы кут, то есть место, где стряпают. У дверей, между печью и стеною, были устроены огромные полати, на которых и должен был спать Алексей по причине крайней тесноты в избе. Но сие неудобство квартиры вознаграждалось с лихвою чрезвычайным радушием хозяев, с которым они приня­ли Алексея и содержали его, не брав никакой платы ни за квартиру, ни за пищу. Сначала Алексей хотел угово­риться о плате с Прокопьем, который, приучившись в Анадырске отогреваться вином во время плящих моро­зов, не мог отстать от сей привычки и по приезде в Нерчинск, а потому имел всегдашнюю надобность в день­гах и начинал было соглашаться с предложением Алек­сея, но столетний Хабаров, родоначальник и глава семей­ства, лежавший в сие время на печи, на которой он про­водил большую часть зимнего времени, вдруг крикнул на своего восьмидесятилетнего сына:

– Ах ты молокосос! Да ты смеешь своевольничать! На что это похоже? Уж нам брать кортом. Ах ты гос­поди! Да разве мы в осаде сидим какой? Разве у нас хлеба-соли не стало? Разве...

Но в сие время Прокопий, несмотря на свои лета, не престававший бояться отца, увидев, что он начинает сле­зать с печи, проворно около стены добрался до дверей и ускочил в сени, ибо Еремей, быв твердого и сурового характера, крепко держал в своих руках жезл правле­ния, то есть изрядной толстоты костыль, и не любил ба­ловать своего малютку. Впрочем, под суровою наружно­стью в нем скрывалась душа отменно добрая: делиться последним с другими – была, можно сказать, его сильнейшая страсть. Смолоду самый характер его был мяг­кий и веселей, но лета, особенно же боевая, с непрерывными трудами и опасностями сопряженная жизнь; зака­лили его душу, подавили в ней семена природной веселости и сделали его угрюмым и молчаливым. Только тог­да, как он вспоминал о былых подвигах своего отца, ког­да минувшие годы битв и отваги приходили ему на ум и когда он начинал о них рассказывать, тогда только по­тухший огонь молодости как бы снова загорался в его душе, оживлялись его тусклые глаза и на губах его по­являлась веселая улыбка, самая редкая гостья преклон­ной старости. Но нелегко было заставить его приняться за рассказ: для сего нужен был особенный случай, кото­рый бы, так сказать, разбудил его. Таким образом душа, достигнув предела земного странничества, опять замыка­ется в самое себя, как и при начале поприща!

Скромному и добронравному Алексею нетрудно бы­ло приобресть любовь как сего старика, так и всего се­мейства, состоявшего, сверх Прокопья, из старушки Вла­сьевны, его жены, и из дочери их Орины, восьмнадцатилетней девушки, очень красивой собою, живой, све­жей и веселой, как сибирская весна. О других лицах мы не упоминаем, кроме одной больной и престарелой жен­щины, которая, быв лишена параличом левой руки и но­ги, лежала, не вставая с места, на лавке в кути, сделав­шись больна задолго до приезда Алексея. Добросердеч­ная Орина услуживала ей всегда с одинаковой угодливостью, всегда с веселым лицом, и бедная больная любила ее от всей души.

Алексей по приезде в Нерчинск был задумчив и мра­чен: он не надеялся увидеть более Наталью и разлуку свою с нею считал вечною. Горесть подобной разлуки с человеком любимым при его жизни есть несравненно тя­гостнее вечной его потери. Смерть разом прерывает все нити, связывавшие нашу душу с похищенною жертвою, и сия решительность удара, сия невозвратимость потери приводит ее во внезапное оцепенение, переходящее потом Постепенно к состоянию спокойствия. Но когда любимый нами человек еще существует, когда мы знаем, что в дру­гих обстоятельствах, в другом положении нашей жизни, мы могли бы опять насладиться его присутствием, тогда душа не перестает жаждать сего наслаждения, и смер­тельная, непрерывная тоска непрестанно грызет наше сердце. Находясь в сем состоянии, Алексей долго не об­ращал внимания ни на что из окружающего: он жил и самом себе и беседовал только с одними своими думами. Хозяева приметили его скорбь и старались, особенно Власьевна, узнать о причине.

– Что это, батюшка, ваше почтение, – говорила ста­рушка, – вы все такие скучные да печальные? Уж до­вольны ли нашим хлебом-солью? Кажется, мы чем бога­ты, тем и рады.

На подобные выходки Алексей всегда отвечал одина­ково:

– Я доволен вами как нельзя более, а печален пото­му, что нечему радоваться.

В таком положении оставались дела до самых святок.

В один день на святках в доме Хабаровых готовилась пирушка. Власьевна, с помощью Орины, сварила огром­ную порцию карымского чая, состряпала мягкие, вынес­ла из казенки целый мешок корсунов и проч, а муж ее ходил нарочно звать в гости коронноповеренного, то есть продавца казенного вина, московского мещанина Сибиркина. Сибиркин был человек лет тридцати пяти, хорошей наружности, довольно исправный, по нерчинскому выражению, то есть имевший изрядное состояние и, следовательно, все права на имя выгодного жениха. Он отличался на вечеринке Хабаровых. Многие из девушек не сводили с него глаз, но он оказывал видимое преиму­щество Орине: старался ловить ее взгляды, плясал почти с нею одною, и когда начались жмурки, или по-сибирски имальцы, то почти одна Орина была предметом его прес­ледования. Но Орина не разделяла его чувств, избегала его взоров, уклонялась от его ласк и всячески увертыва­лась от него при поимке. Во время же отдыха, когда пол­ная грудь ее волновалась от вздохов, когда жар лился по ее жилам и возмущенная душа стремилась к непонятному блаженству, тогда прекрасные голубые глаза юной Орины невольно обращались в ту сторону, где сидел печальный и задумчивый постоялец.

После жмурок девушки бегали полоть снег, спраши­вать имена прохожих, подслушивать под окнами и даже некоторые из них, разумеется, самые дерзновенные, отваживались запираться в бане, в месте, по древнейшему мнению, самом заколдованном. Сии отважные девушки потом без шуток уверяли, что слышали прикосновение ру­ки: одни – покрытой шерстью и, следовательно, обещав­шей богатство, а другие – голой, предвещавшей бедность. В первом разряде была и Орина, и когда рассказывала она о сем, то на губах отворотившегося от нее Сибиркина была заметна беглая улыбка. Словом, все было шумно, живо и весело; только один Алексей не брал ни в чем участия.

– Да что это, отец родной, – сказал ему подгулявший Прокопий. – Вы не изволите повеселиться с девушками? Ведь вы еще не остарок какой! Не то, что мы! Вот наш брат, хоть бы и вздумал иногда, да нет-ста: ноги изменять уж стали, отслужили свою службу! Ах, Алексей Федорович, было похожено! Я думаю, добрая лошадь столько не выходит на своем веку!

– А где же тебе так случалось много ходить?

– Да ведь я, батюшка, всю жизнь свою почти провел на службе в Анадырске. Я чай, вы слыхали об этом месте!

– Да!

– Славное место, Алексей Федорович! Рыбы там вдоволь: ешь не хочу! Зверя всякого – ах ты господи! сохатых, оленей, соболей, лисиц... Чего хочешь, того про­сишь! Хлеба нет, так ягод разных, кореньев... С голоду не умрешь! Кабы к этому еще да не проклятые чукчи, так что бы там за житье! Масленица! Недаром Дежнев выбрал это местечко; был преумная голова!

– А кто он был таков?

– Вестимо кто! Не боярин, не воевода: нет, в этакую даль воеводу-то и калачом не заманишь! Они любят сидеть по городам да отнимать куриц...

– Эх, полно тебе, Еремеич! – сказала Власьевна. – Бог с ним! Пусть нашим добром разживается!

– А разве он отнял у вас? – спросил с любопытст­вом Сибиркин.

– Да что, пустое, Савва Измайлович! Плевое дело! И поминать не хочется! Ну, слышь, госпоже воеводше понравилась моя курица с цыплятами, приступила на горло: отдай да и только! Нечего делать, отдала, да пос­тавила алтынную свечу за обидящаго. Вишь, мало добра-то у ней! Оголодала, бедная! С голода-то уж насилу в двери пролезает!

Громкий смех раздался в кругу девушек.

Алексей, желая возобновить прежний разговор, спро­сил Прокопья:

– Так Дежнев был казак?

– Да, наш брат, казак. Только такой, что десятерых воевод за пояс бы заткнул. В Анадырске были при мне старички, которые еще его помнили и много рассказы­вали о нем.

– А что же?

– Ну, об его похождениях. Вишь, пронесся слух от иноверцев, что есть, дескать, река Анадыр и что народу-де на ней живет множество и народ-де все богатый. Ну вот промышленники и стали просить приказчика госуда­рева на реке Колыме, чтоб послать с ними на Анадыр человека служивого. Дежнев об этом услышал и вызвал­ся сам. Приказчик государев дал ему четыре кочи, да промышленнических было две кочи. На каждой коче бы­ло, сказывают, казаков и промышленников человек до тридцати. Дежнев спустился по Колыме в Ледяное мо­ре и пошел вокруг Чукотской земли. Но едва, слышь, доехал до окаянного Чукотского мыса, как ударила буря и четыре кочи мигом вздернуло на кошки: тут они и погибли. Сказывают, что чукчи нашли выброшенный на берег образ Чудотворца Николая. Поставили его у дере­ва и хотели стрелять его из луков, как вдруг доспелось какое-то чудо: ведь, он, батюшка, силен, Угодник! (Рас­сказчик набожно перекрестился.) Чукчи испугались это­го чуда, и с тех пор все почитают Святителя. Храни бо­же, если кто из них скажет об нем худо!

– Что же случилось с Дежневым?

– То судно, на котором был Дежнев, спаслось; неда­ром сказано: береженого бог бережет! Дежнев сам-то спасся да еще с другого разбитого судна спас человек с двадцать. Между тем дело подходило к осени, а при­стать к земле было страшно: чукчи того только и ждали, скоро ли наши выйдут на берег. Но как ни было страш­но, Дежнев, однако ж, решился. «Ну, ребята! – сказал он. – Умереть так умереть! Попробуем счастья, чем око­левать на море». Чукчей высыпало на берег столько, что и счету не дашь, а казаков было не более человек пяти­десяти, да не таков был народ, чтобы оробеть! Схвати­лись; бились не на живот, а на смерть, но сила одолела: Дежнев принужден был сесть опять на кочу, хотя был уже октябрь месяц, и море ни на минуту не утихало. Не успели казаки отвалить от берега, как буря понесла их невесть куда, и, наконец, выбросила у реки Алютора, где и должны они были зимовать, сладив себе земляную юрту. Какова была, Алексей Федорович, как вы думаете, их жизнь? Мороз, каких здесь отродясь не бывало, ди­кие звери, голод... да ничто не взяло! На следующее ле­то опять пустились в море; доехали до реки Анадыра и заложили острог. Но на этот острог Дежнев не полагал большой надежды, потому что вокруг его были соседи многочисленные и неизвестные: коряки и юкагиры, – а ожидать помощи было не от кого. Вот Дежнев и начал присматриваться к своим соседям и замечать их поведе­нию. Он узнал, что коряки и юкагиры беспрестанно меж­ду собою в ссоре, а потому и начал смышлять, которую бы сторону было выгоднее ему избрать. Наконец он вы­брал юкагиров, потому что они были не столь дики и суровы, как коряки. А чтобы еще более привязать их к себе, то Дежнев, посоветовавшись с товарищами, поло­жил намерение начать жениться на юкагирках. Юкагиры на это согласились, но с тем, чтобы свадьбы играть по их закону, то есть чтобы наперед несколько месяцев ра­ботать в доме тестя. Дежнев решился на это первый, а потом и пошли свадьбы своей чередой, и юкагиры стали жить с казаками, как с братьями... Да еще что! Дежнев успел с них и с коряк собрать ясак и отправил его на Колыму!

– Все это показывает, – сказал Алексей, – что он был человек не только отважный, но и весьма сметли­вый.

– Без сметки да без ума, – говорил Прокопий, – ни­чего не сделаешь! Недалеко ходить: примерно, у нас же в Анадырске был сотник Кривогорницын... храбр – про­сти господи! – как черт, что называется сорви-голова. Да оплошал, так сам-то погиб, да еще погубил и начальника своего, майора Павлуцкого... Вот, батюшка, был тоже че­ловек, не нашему брату чета!

– Ну что ты со своим Павлуцким, – возразил старик Еремей, который, быв пристрастен к касте казаков, не находил ничего выше их подвигов и всегда сердился на сына, когда он превозносил Павлуцкого. – Экая фря! С ружьями да с пушками напали на людей, которые их от­роду не видывали! Нет, подрались бы вы по-нашему: вас бы было человек сто, а неприятелей тысяча, у вас бы...

– Я не спорю с тобой, бачка!

– Отчего же погиб Павлуцкий? – спросил Алексей.

– Я рассказал бы, да, вишь, бачка сердится.

– Ну ври, ври, да только знай меру!

– Майор Павлуцкий, – продолжал Прокопий, – при­шел в Анадырск с тремястами казаков и на другой же год отправился в поход против чукчей. Казаков с ним было четыреста да юкагиров и коряк до шестисот че­ловек...

– Экая шутка! – прервал Еремей. – Да с этакою ора­вой мой отец-покойник завоевал бы всю китайскую зем­лю, а вы с чукчами справиться не могли! Дряни!

– Дай досказать, бачка!

– Ну говори, да ретивое не терпит! Ох, так бы и соскочил с печи да в поле, в широкое раздолье. Свист­нул бы, гаркнул молодецким голосом, богатырским по­свистом! Эй вы, други, не выдавайте!..

– Что это говорит он? – спросил тихонько Алексей Прокопья.

– Он всегда такой. Молчит, молчит, а если расшеве­лят его, то до того заговорится, что забывается. Уж ему и кажется, что он опять молод, опять дерется с даурцами.

В это время девушки с шумом вбежали с избу и с ужасом начали рассказывать Власьевне, наперерыв одна пред другою, что кто-то, словно медведь, выскочил из ба­ни с бичом и ну гнаться за ними да хлестать бичом по снегу. Власьевна разделяла с ними страх, а старик Ере­мей, быв выведен внезапным шумом их из забывчивости, замолчал. Потом, когда девушки опять убежали из избы, Алексей попросил Прокопья продолжать рассказ.

– Так Павлуцкий, – говорил Прокопий, – с тысячью человек и отправился против чукчей. Когда он дошел до Чаунской губы, то предложил чукчам, чтобы они поко­рились нашей государыне, да где ты! И слышать не хо­тели! Павлуцкий увидел, что дело без боя не обойдет­ся. Вот выбрал он ясный день, построил команду во фронт и повел взводами. Чукчи смотрели как сумасшед­шие на наш порядок, потому что все тамошние некрести дерутся друг от друга саженях в десяти. Павлуцкий подошел к ним на пушечный выстрел да как обварит их картечью, так что чукчи, не слыхавшие отроду огнест­рельного оружия, чуть с ума не спятили. Видят, что юрты их одна за другою становятся вверх дном, олени бесятся и народ валится кучами, а отчего – понять не могут, по­тому что стрел нигде не видят. Начали они осматривать убитых и удивлялись, что не было никаких ран, кроме небольшой язвины. Наконец, примечая ужасную в своих толпах убыль и истребление своих жилищ, разъярились и бросились на нас, словно барсы, с копьями. Но Пав­луцкий, не допустив их близко, велел стрелять по них из ружей залпом, ряд за рядом, и дать также залп из пушек. Не выдержали этого, окаянные, как ни были люты: дали тыл и оставили в наших руках свое стойбище со всеми юртами и с возовыми санками.

– Экое чудо! – сказал с насмешкою Еремей. – Не легкая победа! Еще бы вы вывезли против них весь огнестрельный снаряд, сколько ни было его в Якутске, да и хвастались! Напрасно вы не смазали лыжи, как на вас бросились чукчи: тогда было бы за что вас по голов­ке погладить!

– Когда же убит майор Павлуцкий? – спросил Алек­сей. – Не в этой ли битве?-

– Нет, спустя после того несколько лет. В это время Павлуцкий ездил в Тобольск, привел в Анадырск новую команду и так стеснил чукчей, что уж им невмочь при­шло. Вот они собрали мирскую сходку да и решили по общему согласию защищать свою землю до последней крайности и во что бы то ни стало русских в нее не впус­кать. Вот их тысяч до трех и прикочевало на оленях под Анадырск. Павлуцкий, известившись об этом, приказал команде изготовиться к походу и выступить в стойбища корякские и юкагирские, чтобы там для каждого служи­вого взять оленя с санками. Между тем как команда по­шла за оленями, Павлуцкий не утерпел: по совету Кривогорницына взял с собою восемьдесят человек да и от­правился, чтобы удержать чукчей от нападения на коряк­ские и юкагирские оленные табуны. Чукчи засели на превысокой горе, верстах в двадцати от Анадырска, и как скоро увидели, что нас мало (я был также в отряде с Павлуцким), то и начали готовиться к бою. Но Павлуц­кий не хотел с ними сражаться, не дождав команды, пос­ланной за оленями...

– Имел восемьдесят человек, – прервал Еремей, – и не хотел сражаться! Попросту сказать: трусил!.. Эх, пе­рестань, Прокопий, скучно слушать.

– Дай, пожалуйста, досказать, Еремей Сергеевич! – сказал Алексей.

– Да што! Терпеть не могу трусов! Ну да уж так и быть, договаривай.

– Я сказал, что Павлуцкий хотел подождать коман­ды. Так окаянный Кривогорницын отходу не давал ему: пойдем да и только приступом на гору. Знать, уж рок тянул его за язык. Павлуцкий долго не слушался, нако­нец Кривогорницын сделал подлог: уверил Павлуцкого, что часть команды пришла. Тот поверил, скомандовал на приступ, а чукчи того и ждали: пустились с горы на оленях с копьями и напали, словно свирепые звери, всех прежде на Павлуцкого, потому что считали его бессмерт­ным: вишь, он носил под платьем латы, так ни стрелы, ни копья их ему не вредили. Майор лихо оборонялся, убил двух разом из пистолетов и пошел косить саблею. Мы бились вокруг его. Наконец чукчам удалось сшибить его с ног, и злодеи тут же закололи его в самое горло, потому что и в сей раз он был также в латах. Кривогор­ницын увидел свою ошибку и как лев защищал Павлуц­кого.

– Товарищи! Умрем за начальника! – вскричал он нам и бросился в толпу, окружавшую майора. Одним ма­хом сабли он проложил себе дорогу, но Павлуцкий уже лежал мертвый. Увидев сие, Кривогорницын задрожал, слышь, от ярости, напал с отчаянием на неприятелей, дрался, забывая себя, и только повторял:

– Друзья! Не выдавайте! Отомстим за начальника!

Много чукчей пало под его ударами, целая поленница тел лежала по следам его; но, наконец,- чукчи окружили его, двинулись на него с остервенением, и бедный сотник, как ни храбро дрался, но, наконец, молодца свалили...

– И дело! – подхватил Еремей. – Не обманывай!

– Да он ведь, бачка, не то чтобы хотел обмануть, а только подраться, вишь, захотелось... Я знал его хоро­шо: он был человек, слышь, пречестный, да и весь род его...

– Ну что же вы, когда убили Кривогорницына?

– Мы-то? Мы еще долго бились, но уж человек со­рок наших уснуло крепко, и мы, видя, что уже пришло невмочь, принуждены были отступить.

– Отступить! – вскричал Еремей. – Ах вы трусы! От клочка чукчей отступить! Негодные! Так ли поступа­ли мы, когда, бывало, с отцом дирались с даурцами? Да хоть их высыпли целая тьма, так шагу не отступим, бы­вало, напрем на бусурманов, так только держись они! Однажды отец... Ну, да коли дело пошло к рассказу, так уж лучше рассказать все по порядку. Хотите ли слу­шать?

Еремей начал рассказывать о подвигах своего слав­ного отца, но мы отлагаем повествование его до следую­щей главы.

**ГЛАВА VI**

– Покойник отец мой (дай бог ему царство небес­ное!), – говорил Еремей, – был человек не то что ны­нешние люди – без ветру шатаются. Человек могучий, здоровенный, настоящий Еруслан Лазаревич, а уж ума- то, ума-то... не занимать было! Не думай, бывало, никто провести его: каждого насквозь видел! А уж какой бой­кий был, ах ты царь небесный! Что вздумано, то и сде­лано. Узнал он, слышь, что к реке Амуру можно до­браться скорее из Якутска по реке Олекме, нежели по Алдану, по которому прежде ездили. Вот он и пришел с этой вестью к якутскому воеводе Дмитрию Яковлевичу Франсбекову... И этот уж давно тоже в матушке сырой земле! Ах, как вспомнишь, сколько людей было, да и не стало! Куда девались, подумаешь! – Еремей тяжело вздохнул и, помолчав несколько, продолжал: – Отец начал просить Франсбекова позволить ему идти тем путем на Амур, чтоб покорить тамошние места, а сам не только не просил ни жалованья, ни провианта, да еще обещался содержать на собственный свой счет полтораста человек и на свой же счет построить суда. Таковы-то, батюшка Алексей Федорович, были прежние люди! Служили го­сударю верою и правдою, а о награде и не думали! А ныне поди-ка!

– Так что же, воевода дал позволение?

– Вестимо, что дал, и как бы не дать на такое дело! Сверх того, воевода отпустил с ним несколько казаков, а прочих людей набрал сам отец из людей промышленных; только не слишком много нашлось охотников, не более как человек с семьдесят. Я тогда имел отроду лет с два­дцать и хаживал уж с отцом на медведей. Признаться, я был парень-то не промах: без хвастовства сказать, двумя пальцами поднимал винтовку на отвес за конец дула и с медведем, случалось, и один барахтывался. Нынешние от нас, стариков, далеко отстали! Ну вот хоть Прокопий, много ли еще лет перед моими, а ведь что? Дрянь! Того и смотрит, как бы на полати взмоститься; а я, бывало, в стужу, в холод, в пургу на лыжах пущусь за сохатым – так только пар столбом!.. Эй ты, Пущин! Ты как зашел сюда?.. Кто скорее догонит?.. Смотри, заворотил глаза-то, в овраг ведь бежишь!.. Ну, обрушился! Экой зевало! Подожди, я соскочу к тебе!

– Ах боже мой! Он готовится соскочить с печи, – сказал Алексей. – Надобно как-нибудь его привести в себя.

– Батюшка, батюшка, – говорил Прокопий, дергая Еремея за полу, – смотри, ушибешься: ведь ты не в по­ле, а на печи сидишь.

Еремей, как бы проснувшись, начал ощупывать около себя руками и потом сказал:

– Ах, мне показалось, будто я в поле с покойным товарищем моим Пущиным бежим взапуски на лы­жах...

– Ты рассказывал, – говорил Алексей, – о похожде­ниях твоего отца, что он выпросил у воеводы позво­ление...

– Да, да, да! Теперь вспомнил... Ну вот отец, от­правившись по реке Олекме уж поздно осенью, успел дойти только до речки Тугира, где и остановился до пер­вой оттепели; потом около праздника трех святителей, пустился далее через горы на нартах и пришел с коман­дою на Амур. Тут мы увидели словно рай божий! Места привольные!.. Ну да говорить об этом вам нечего. По реке Амуру были выстроены даурцами пять крепостей, одна от другой недалеко. Вот мы прошли одну – видим другую; прошли другую – видим третью. Отец и смек­нул, что с малою командою этих крепостей не возьмешь, а потому и повел людей назад в первую крепость, потому что она стояла пустою. Это был, слышь, Албазин, в ко­тором потом служил я, почитай, лет с сорок. Тут много было пролито христианской крови!

– Как же?

– Ну об этом скажу после. Не сбивай меня, старика, Алексей Федорович, коли хочешь слушать: и то память больно плоха стала!

– Говори, говори, дедушка!

– Ну так, слышь, из Албазина поехал отец назад в Якутск и как порассказал хорошенько обо всем, что там видел, то промышленники словно с ума сошли: всякий рвался наперерыв ехать на Амур, и отец легошенько на­брал из них сто семнадцать человек, да воевода дал два­дцать казаков. Вот видишь, Алексей Федорович, кабы не отец, так не знали бы, может быть, и доныне порядком земель Амурских! Хитрость в первый-то раз попасть в незнакомую землю, а после уж что? И слепой дойдет! Недаром сказано: первая песенка, зардевшись спеть!

– Так что же? Он опять поехал?

– Вестимо! Опять он приехал на Амур, но только в этот раз даурцы приготовились к сильному отпору: вишь, было между ними пятьдесят человек манжур, а эти некрести думали, что с русскими так же легко управлять­ся, как с китайцами, да и подбили даурцев, чтобы с на­ми драться. Крепости были деревянные, окопанные рва­ми в сажень глубиною. Они стояли одна подле другой и вместо ворот имели покрытые проходы в ров. Даурцы и манжуры вышли из них и ожидали нас на поле. Мы по­дошли к ним на ружейный выстрел. Отец вскричал: «Па­ли!» Мы грохнули из ружей и из трех пушек. Другого выстрела не дождали, окаянные: даурцы побежали в свои крепости, а манжуры ударили на превысокую гору и оттуда, как сычи, выглядывали из-за дерев. «Я вас, мошенников! – кричал отец, грозя им винтовкою. – Всех перестреляю, как белок!» Манжуры, словно нашел на них столбняк... Эх, брат Савва Измайлович! Ты опять при­нимаешься за эту чертову сосу. Брось ты ее в омут или, по крайности, выйди отсюда. Терпеть не могу этого дья­вольского духу!

– А я так без ганзы жить не могу! – отвечал Сибиркин звонким московским наречием. – Уж нынче не те времена, Еремей Сергеич! Все хорошие люди употреб­ляют табак. Сам господин воевода...

– Да провались ты и с воеводою!.. Экую нашел не­видаль! Чертов корень!

– Ну не сердись, Еремей Сергеич! Я сейчас выйду.

Сибиркин ушел в сени, а старик Еремей еще долго ворчал на него.

– Экие времена пришли! Всякий бес таращится рав­няться с воеводою! Воевода курит, так и мне-де как не курить! Курица! Да ведь, ты еще не воевода! Будешь им, так делай что хочешь: большому кораблю – большое и плаванье. Вишь, обморочить хочет: он-де с воеводою заодно. Знаю, брат, к чему идет дело, да не зарься: и собаки не отдадим за мотыгу! Сегодня цветешь, а завтра по миру пойдешь!

При сих словах на лице Прокопья появилась самая горькая мина, ибо по страсти своей к горячим напиткам он не видел лучшей пары для Орины, кроме Сибиркина, и внутренне радовался его видимому расположению к своей дочери. Несмотря, однако ж, на сие, он старался скрыть свое неудовольствие и не говорил ни слова. Алек­сей же, боясь, чтобы Сибиркин не услышал из сеней слов Еремея и не вступился за свою честь, сказав сему последнему:

– Оставь его, Еремей Сергеич, и доскажи лучше, что начал.

– Эх, Алексей Федорович, сердце кипит, как увижу, что люди живут не по состоянию и гоняются за боль­шими.

– Что ж делать, Еремей Сергеич? Всех не пере­учишь!

– И то правда, Алексей Федорович. Разумный, брат, ты человек! Люблю тебя, без лести сказать.

– Так что же манжуры, когда нашел столбняк на них?

– Да, ведь я о манжурах-то заговорил. Манжуры, слышь, ни одной стрелы выстрелить не смели, зато уж даурцы, брат, целую тучу пустили на нас из крепости: стрелы торчали на поле, словно колосья; только все без пути, и вреда нам делали мало. «Товарищи! – сказал отец, – пусть они сеют хлеб, а мы лучше примемся его есть; отужинаем, отдохнем да нагрянем на них ночью врасплох. Понимаете?» – «Ладно, бачка! – закричали все в голос. – Приказывай, что знаешь; мы все готовы исполнить». Вот лишь настала глухая полночь, мы встали да и давай жарить из пушек. Сделали в стене пролом и на рассвете ворвались в крепость. Мигом все стало на­ше. Даурцы иные разбежались со страху; других мы по­ложили на месте. Убитых насчитали более шестисот, а ведь нас, вы помните, сколько было?

– Сто тридцать семь человек?

– Да! И сверх того ведь они сидели в крепости, а мы были в поле!

– Так зато и они также не имели огнестрельного снаряда, – заметил Прокопий, досадуя на отца за преж­ние его выходки, особенно же за Сибиркина.

– Ах ты чукча! – вскричал Еремей. – Разве ты не слыхал сколько всех нас было? Не тысяча человек, как у вас с Павлуцким, а только сто, да и даурцы сидели еще в крепости. Оглох, что ли, ты?

– Куда же вы пошли по взятии этих крепостей? – спросил Алексей, желавший прервать спор сих двух ге­роев о бывалой славе.

– Отец узнал, что вниз по Амуру живут три князь­ка даурские. «Ну, товарищи! – сказал он своей коман­де. – Бог еще дает нам счастье: впереди еще крепость. Сбирайтесь проворнее, чтобы налететь на нее как снег на голову». Обрадовавшись этой вести, мы мигом приго­товили суда и. с песнями пустились по Амуру. Веселая была жизнь! Как вспомнишь, так бы и полетел назад, да нельзя: не привязан, да визжишь! Старость не радость, не красные дни!

– Ну что же и взяли эту крепость?

– Хе-хе-хе! Разумеется! Да еще что! Отец послал наперед небольшой отрядец, чтобы дойти до крепости, слышь, прежде, нежели дошел до нее слух об русских.

Этот отряд был поручен мне. Даурцы пировали невдале­ке от крепости, а в ней оставалось людей немного. Мы увидели это и влетели в крепость так, что бусурмане и духу перевесть не успели. «Ребята! – вскричал я, – за­творяй ворота и вяжи правого и виноватого!» Вмиг как сказано, так и сделано. Даурцы узнали, бросились с праздника, да уж поздно. Мы уставили ружья из-за ты­на и, хохоча во все горло, кричали им: «Отсель зайди­те!.. А ты что, козлиная борода, прискочил к воротам- то? Вот я тебя, некресть!»

Еремей махнул костылем с печи и попал по голове входившего в сие роковое мгновение во дверь Сибиркина.

– Батюшка Еремей Сергеич, за что изволите драть­ся? Ведь если бы попали по виску, так, храни боже! могли бы до смерти ушибить.

Опомнившийся Еремей смотрел на него с изумлением и, увидев свою ошибку, сказал:

– Извини, брат Савва Измайлович! Я хотел ударить-то не тебя, да ты, вишь, подвернулся: это, брат, знать, бог тебя наказывает.

– А за что бы это, Еремей Сергеич?

– Да за то, брат, что ты, вишь, любишь поднимать нос, так он тебя и щелкнул моим костылем по носу.

– Я ничего-с не понимаю-с из ваших слов.

– Сказал бы я тебе и напрямки, да правда глаза колет.

– Извольте-с говорить, ничего-с!

– Ну, коли ничего, так я тебе скажу...

Но в сие время вбежал в избу строшной Сибиркина. *(Строшной – срочный, или работник.)*

– Хозяин! – вскричал он, – беги скорее: горит ка­бак!

Сибиркин, услышав сие, как сумасшедший выбежал из избы, и, таким образом, горькая для него истина, го­товая сорваться с уст Еремея, осталась непроизнесенною. Вслед за ним убежал и Прокопий с большей частью гос­тей, так что в избе остались почти только четверо: Алек­сей, Еремей, Орина и та больная женщина, о которой мы упоминали выше. Поговорив несколько о пожаре, Еремей по просьбе Алексея опять начал продолжать свой рассказ.

– Ну так крепость, – говорил он, – осталась нашею, и отец назвал ее Толзин-город. Оттуда мы пустились опять вниз по Амуру и недели через три приехали в землю дучеров и ачанцев. Дело подходило к глубокой осени, и продолжать далее пути было нельзя. Поэтому отец и рассудил построить в ачанской земле городок и назвал его Ачанским. Не успели мы выстроить этого городка, как вдруг нахлынуло под стены дучеров и ачан­цев человек более тысячи, а у нас, слышь, было только сто шесть человек. Я чай, всякий бы оробел, а отец был, уж подлинно, десятка не робкого! Он оставил тридцать шесть человек в крепости, а с остальными семидесятью так нагрянул на бусурманов, что разом положил на мес­те сто семнадцать человек, а прочие как приударят бе­жать! Мы чуть со смеху не померли. Тогда отец вскри­чал: «Ребята, не бейте их, а накормите бурдуком на до­рогу». Мы воткнули в ножны сабли да давай их вслед пинками, а они-то, они-то! Бегут без оглядки, только пятки сверкают!

– Что же после?

– Ну после... Но рассказывать все слишком много, и в неделю не перескажешь. Якутский, слышь, воевода, не получая о нашей команде долго никакой вести, послал для отыскания нас сотника Нагибу. Он разошелся с на­ми, плывя все по Амуру, несколько раз сражался с ки­тайцами, везде колотил их, как гусей, и, наконец, не по­боялся, брат, пуститься в открытое море. То-то сокол был!

– А нашел ли он вас?

– Нет, не нашел и возвратился назад в Якутск че­рез горы. Между тем на смену отца был прислан тоже сотник, Степанов, и тоже лихая была головушка! (Дай бог царство небесное!) Он, слышь, в Камарском остроге защищался с пятьюстами против девяти тысяч китайцев и прогнал их с уроном, но все-таки после отца было уж не то: как-то все пошло хуже да хуже, так что с Амуром мы и вовсе простились под конец. А жаль было, брат, смотреть, как китайцы начали срывать Албазин! Так сердце и замирало! Один бы так и бросился на них.

– Китайцы взяли Албазин силою?

– Куда им взять силою!

Слышь, привалило их к Албазину видимо-невидимо, а нас было так же, как у Степанова, не более пятисот, да в том числе еще наполовину хворья. Ровнешенько год мы бились с ними, несмотря, что у них было и пушек с три пропасти. Эх, брат, не видать бы им Албазина как ушей своих, кабы не голод! Голод погубил нас! Народ стал, слышь, мереть в один день десятка по два да по три. Крепились, крепились да и начали поговаривать о сдаче. Мы с товарищем Пущиным пытались было уговаривать, на коленях, брат, стояли да молили, как бога: «Подождемте, ребята, еще хоть с недельку, авось помощь по­дойдет». Нет, ничто не взяло! «Да, жди помощи, – гово­рила команда, – а между тем десять раз околеешь! Голод не тетка!» Увидя, что делать было нечего, мы уговори­лись с Пущиным пройти напролом во что бы то ни стало или погибнуть, но не сдаваться живыми. Нашлось чело­век с двадцать охотников, и мы, в глухую полночь выйдя из крепости, начали пробираться к Амуру. Я был тогда еще холост, а товарищ мой незадолго пред тем овдовел. Жена оставила ему дочь пяти лет. Он сильно любил ее и никак не согласился покинуть в Албазине; привязал к себе за плечи и с этою ношею пустился в дорогу. Но едва мы начали подходить к реке, как китайцы нас примети­ли: раздался выстрел, все всполошилось у них в стане, и мигом целая толпа окружила нас. Мы бились насмерть. Много уже тел лежало вокруг нас, и река была недалеко, как вдруг стрела ударила в грудь Пущина, и он свалил­ся как сноп. Я кинулся было к нему, чтобы захватить его с собою, но он сказал мне: «Товарищ, покинь меня: я вижу, что проживу недолго, но не оставь, брат, моей дочери: возьми ее с собою!» Я схватил ребенка под мыш­ку и, размахивая саблею, пробился сквозь ряды бусурманов, бросился в Амур и, как видишь, остался жив! Правдива речь: бог не выдаст, так свинья не съест!

– И девочка также осталась жива?

– Да! Не без труда я пробрался досюда. Здесь я женился. Мне, правда, было уж лет под семьдесят, но никто не давал мне и сорока. Жена моя любила моего приемыша как родную дочь. Мы воспитали ее, выдали замуж, да, может быть, мне же, старику, приведется и похоронить ее.

– Где же она теперь?

– Да вон лежит в кути. Три года, слышь, как не встает с места.

– Отчего же это?

– Бог весть! Его воля! Вишь, горя-то немало пере­несла она, бедная, оставшись одна после мужа.

– А он давно умер?

– Может статься, и жив еще, да, вишь, есть уже лет с пятнадцать, как он уехал с сыном в Иркутск.

– Кто он был таков? – спросил Алексей с сильным внутренним движением.

– Он-то? Он был, слышь, однофамилец с тобою, ко­пиист...

– Боже мой! – вскричал Алексей. – Это мать моя!

Он бросился в куть. Больная в сие время лежала с закрытыми глазами и, казалось, спала. Она пробудилась от внезапного шума и, увидя стоящего над нею Алексея, с изумлением устремила на него глаза. Алексей, целуя у ней руку, заливался слезами и, рыдая, говорил ей:

– Матушка, ты не узнала меня: я твой сын, Алек­сей!

Старуха закрыла глаза и опять открыла, не понимая сама: во сне или наяву видит происходящее пред нею. Она всматривалась с приметным трепетом в черты Алек­сея. Лицо ее, побледневшее от внезапного внутреннего движения, мало-помалу оживлялось, наконец слезы покатились у ней градом, и, протянув к сыну оставшуюся, но почти не менее больной иссохшую руку, она... но мы предоставляем воображению самого читателя дополнить сию картину, на которую смотря, плакали все тут быв­шие, даже и сам старик Еремей начал утирать рукою глаза.

– Вот, Ивановна, – сказал он старушке, – я те прав­ду говаривал: надейся на бога! Авось либо он приведет тебя свидеться с сыном.

– Ах, Еремей Сергеич! – говорила больная, – как знать, что случится вперед! Кабы не сам господь царь небесный открыл мне и о покойнике Григорьевиче, так я бы и доднесь не знала, что с ним деется.

– А как же ты узнала, матушка?

– Сон видела, Алешенька! Однажды после обеда ле­том легла я отдохнуть в амбарушку и только что закры­ла глаза, как вдруг вижу: крыши на амбарушке не стало; прилетели два человека, светлые, словно ангелы, держа на руках третьего; спустились в амбар и приложили к моим губам лицо того, который был у них на руках. Я поцеловала его; он был холоден как лед – и я пробу­дилась от страху. «Ну, – подумала я, – Григорьевича мне не видать больше», – и горько заплакала. Это бы­ло в самой ильин день, назад тому уже лет одиннад­цать.

Алексей с удивлением подтвердил, что отец его дейст­вительно умер в тот самый день. После сего они еще долго разговаривали. Наконец петух в третий раз на­помнил, что пора спать, – и в доме Хабаровых все успо­коилось. Душа каждого из спящих полетела в свою зна­комую сферу. Еремей опять храбровал на берегах Амура с покойным отцом и с шайкою удалых товарищей; Алек­сей опять беседовал на Ушаковке с милою Натальею, и пил полною чашею блаженство из ее ангельских взоров; мать его опять свиделась со своим мужем. Одна Орина занята была настоящим и не смыкала глаз до самого то­го времени, покамест не возвратился домой отец ее, уча­ствовавший с великой деятельностью в потушении столь гибельного для него пожара.

**ГЛАВА VII**

Жизнь Алексеева текла единообразно, как тихий ру­чей в пустыне. Только в те дни, когда он получал, слу­чалось, весточку со стороны родимой (но это было очень, очень редко!), легкокрылая радость прилетала к нему на минуту и скоро улетала, оставляя, неверная, в сердце еще большую грусть. Печаль, всегдашняя печаль, была постоянною стихиею Алексея, хотя иногда и прояснялось лицо его и веселая улыбка показывалась на его губах; хотя даже он участвовал иногда и в шумных сборищах юности и играл в резвых хороводах, кружившихся близ города в праздничные вечера летних дней на обширном лугу, находившемся на берегу тихой Нерчи. Туда стека­лись почти все жители Нерчинска: старики, сидя круж­ками, вспоминали о минувших днях молодости и битв; молодые веселились со всею чистотою сердца, не возму­щаемого ни порочными желаниями, ни чувством ложного стыда. О прекрасное время простоты нравов! Ты протекло невозвратно! Человек стал умнее, но зато уже не столько благополучен!

Прошло два года, в которые состояние Алексея оста­валось в одинаковом положении, кроме истории его серд­ца, к которой присовокупилась новая глава, начатая дружбою и оконченная любовью. Алексей, видя самое нежное попечение, оказываемое Ориною его больной ма­тери, старался со своей стороны оказывать ей всевозмож­ную ласку. Нередко он называл ее милою Ориною, не думая, впрочем, о магическом действии, которое произ­водило слово «милая» на ее сердце: приятный трепет пробегал по ее жилам, и на щеках мгновенно вспыхивал яркий огонь румянца. Орина и в самом деле была де­вушка милая: непритворная доброта ее сердца выража­лась в каждом ее слове, в каждом ее поступке. Она часто не спала целые ночи, ухаживая вместе с Алексеем за больною; но, несмотря на сие, поутру с одинаковым усер­дием помогала Власьевне в домашних хлопотах. Прихо­дил ли нищий – он не уходил без ломтя хлеба; плакал ли ребенок на улице – она тотчас выбегала, чтобы его утешить; нуждалась ли подружка ее в каком-либо укра­шении – она отдавала ей последнее. Все сие не укрыва­лось от Алексея; итак, мог ли он не полюбить Орины? Мы не говорим влюбиться; следовательно, постоянство его сердца не подвергается никакой укоризне. Орина была, сверх того, единственным существом в доме Хабаро­вых, которого лета согласовались с Алексеевыми, а вмес­те с тем и наклонности сердца. Он часто ходил с нею за город рвать цветы, сбирать ягоды: ибо и доныне в сель­ской жизни допускается более свободы между молодыми людьми, нежели в городах. Ходила ли Орина за водою – Алексей разделял с нею ношу; работала ли в огороде – Алексей пособлял ей и поливать и полоть гряды. Одним словом, они познакомились близко, жили как родные и не называли иначе друг друга, как братом и сестрою. Долго, однако ж, Алексей не открывал ей тайны своего сердца: но, примечая в иные часы на лице его внезап­ную грусть, Орина неотступно просила его не раз ска­зать о причине, с великими клятвами уверяя в неразре­шимом молчании, и Алексей, наконец, уступил ее прось­бам. Ах, Орина была сущий ангел! Она нисколько не огорчилась, услышав о своей сопернице и даже плакала вместе с Алексеем, жалея от чистого сердца о его разлу­ке с Натальею.

– Кабы она была здесь, – говорила Орина, – ах, я бы, кажется, любила ее более себя.

Это непритворное участие так было чувствительно для Алексея, что он не мог удержать своих чувств и обнял Орину со всею горячностью брата. В сие мгновение во­шел в огород, где происходила описанная сцена, возвра­тившийся из Иркутска Сибиркин, который в отлучке по делам своим провел более полутора года. При входе его Орина вырвалась из объятий Алексея и, бросясь бежать из огорода, едва не сбила с ног Сибиркина; Алексей, сколь ни было чисто его сердце, невольно закраснелся, и сам Сибиркин, питавший, как нам уже известно, сильную страсть к Орине, едва собрался с духом, чтобы отдать Алексею привезенное им письмо.

– От старухи Сидоровны, – сказал Сибиркин. – Кла­няться велела твоей милости.

Проговорив сие, Сибиркин поспешно вышел из огоро­да. Радость и страх объяли сердце Алексея. Долго дер­жал он в руках письмо, не решаясь его распечатать, и думал сам с собою: «Что-то я узнаю из него? Жив ли мой добрый друг и отец; жива ли моя Наталья; любит ли она меня по-прежнему; не забыла ли меня в разлуке?» Наконец он решился сорвать печать и, прочитав несколь­ко строк, изменился в лице и едва не выронил из рук письмо.

– Боже мой! – воскликнул он. – Какая смерть тако­му добродетельному человеку! О, как непостижимы судь­бы твои, господи! Ты щадишь злодеев и предаешь муче­нию праведника! – По прошествии нескольких минут он опять взял письмо, но потом вдруг вскочил со скамьи и начал ходить скорыми шагами по огороду, говоря тихим голосом: – Так это-то верная любовь! Это награда за мои мучения! Это...

В сию минуту Орина, наблюдавшая его из окошка, прибежала к нему обратно.

– Братец! – сказала она ему, – Что ты так разгоревался? Знать, получил какую-нибудь неприятную весть? Уж не умерла ли твоя невеста?

– Ах легче бы мне было, если бы она умерла.

– Так что же такое? Неужели... Да нет, я не верю этому: ты говорил, что она так тебя любит!

– Видно, на свете верить никому нельзя!

– Так, братец, стало быть, ты не веришь и мне, что я люблю тебя?

Произнеся сие, Орина при всей своей обычной откро­венности почувствовала на сей раз какую-то неловкость и закраснелась, да и братец ее как будто в первый раз ус­лышал от нее слово «люблю», хотя прежде тысячу раз слыхал его. Прежде сие слово было заглушаемо в душе Алексея любовью его к Наталье, но теперь чувство доса­ды, ревности и собственного достоинства погашали об­щими силами прежний пламень и давали свободу ново­му. Кто напишет нам историю сердца с его вечными про­тиворечиями и причудами, с его непостижимыми ухищ­рениями противу самого себя, кто до дна исчерпает эту бездну добродетели и порока, любви и ненависти?

Письмо, привезенное Сибиркиным, заключало в себе известие, во-первых, о смерти Жолобова, а во-вторых, о переходе Натальи в дом Груздева. К тому было присово­куплено, что Наталья живет очень спокойно и весело и что даже дала уже слово выйти замуж за сына Груздева. В заключение Домна Сидоровна ужасно роптала на непостоянство сей девушки и советовала Алексею ее за­быть. Это письмо отдано было Сибиркину Груздевым задолго до того времени, как Наталья согласилась в са­мом деле выйти за его сына. Груздев, отправляя сию ложь, побуждался сколько свойственным всем злым, при­том озлобленным людям, вредить и наносить неприят­ность человеку, хотя бы и без намерения даже их оскор­бившему, столько же расчетами коварного ума, хорошо знавшего слабую сторону человеческого сердца. Груздев предугадывал, что холодность и перемена Натальи возбу­дит в сердце Алексея желание оказать ей презрение, и не ошибся, как мы уже видели, в сем расчете. Но заме­тим, что сие презрение есть чувство самое скоропреходя­щее. Оно есть буря души, которая, возмутив ее, потом утихает мало-помалу, и душа, подобно взволновавшемуся морю, опять приходит в прежнее положение. Рано или поздно, но мы начинаем опять любить прежнее, опять горюем и иногда горюем вечно об утраченном предмете нашей любви. Он, так сказать, сродняется с нашею ду­шою, делается для нее необходимым, как свет солнца, и утрата его есть для души ночь и хаос. И вот почему, чтобы быть счастливыми, мы должны приучать наше сердце любить то, что превыше превратности и времени!

Сибиркин, заключив из виденной им в огороде сцены, что нельзя более отлагать ему своей женитьбы, решился назавтра же идти и просить воеводшу, чтобы она собла­говолила принять участие в его деле и поговорить о нем с Хабаровыми. Воеводша была особа преважная, ибо уп­равляла самовластно мужем и, следовательно, всею провинциею. Все дела, более или менее интересные, решались ею, и муж ее исправлял не более как должность автома­та, который от времени до времени прикладывал руку к бумаге. Боже сохрани, не исполнить ее приказания! Если муж дерзал только заикнуться в иное время, что-де приказа твоего, матушка, нельзя никак согласить ни с какими законами, то справедливо раздраженная супруга приходила в такую ярость, что даже не только языку, но и рукам своим давала превеликую волю. Что же, делать было нашему воеводе? И поневоле согласишься, когда не захочешь прийти в присутствие с подбитыми глазами! Притом надобно сказать, что он был человек тощий, ма­лосильный, низкого роста, а она – женщина дюжая, великорослая, могучая, сущая амазонка. Не много наспоришь с подобною женою! И так неудивительно, что вое­вода нередко, выходя с аудиенции от своей супруги, по­жимал жалостно плечами и с самою горькою миною го­варивал тихомолком:

– Что будешь делать? Дух-то бы и бодр, да плоть немощна!

Но, правду сказать, воевода был немощен столько же и духом, сколько плотню. Напротив, супруга его при гер­кулесовой телесной силе имела, по крайней мере, претен­зию и на все возможные силы души: она хотела показы­ваться еще любезною, ловкою дамою, несмотря на соро­ковые лета своего возраста, и даже отличаться тонкостью своего ума. И как в самом деле назвать ее превосходную выдумку – брать взятки, о которой мы сейчас скажем? В строгом смысле она не брала взяток, но каждый из имевших надобность до воеводы должен был сделать ка­кой-нибудь, хотя небольшой, приклад к местному образу, стоявшему в ее комнате. Люди, помешанные на вере и чести, без сомнения, закричат: это низость и святотатст­во, но зато какой благомыслящий взяточник не воспле­щет сей тонкости и не воскликнет от истинного удив­ления.

Сия мощная телом и духом женщина безоговорочно приняла Сибиркина под свое покровительство и, давши слово, что она даже сама побывает у Хабаровых, сказала Сибиркину:

– Только я советую тебе всякое дело начинать с божиим благословением. Помолись Угоднику да приложи что-нибудь по своим силам, то успех уж будет наверное.

Сибиркин, давно знавший обычай госпожи воеводши, приготовил уже заранее кошелек с несколькими рублеви­ками и, сделав три земных поклона, с самою набожною миною положил кошелек на лампаду.

– Ну, теперь будь благонадежен, Савва Измайлович! – сказала воеводша. – Дело твое устроится как нель­зя лучше.

Сибиркин еще раз принес убедительную просьбу своей покровительнице и, поцеловав у ней руку, сказал в заключение:

– Если вы, матушка ваше благородие, изволите по­стараться, то я поставлю обязанностью и еще более по­усердствовать, елико позволяют мои достатки.

По уходе Сибиркина воеводша принялась за туалет: набелилась и нарумянилась как нельзя более; надела пре­огромные фижмы и, повестив благовременно Хабаровых о своем пришествии, отправилась к ним со своею служан­кою, гоголем выступая по улице и чинно помахиваясь китайским веером.

Надобно сказать, что воеводша по недостатку чинов­ных обитателей города весьма нередко с высоты величия своего спускалась, как Астрея, в простые дома казаков, особенно потому, что там чествовали ее со всем подобаю­щим сану ее подобострастием, но зато какие хлопоты были сопряжены с ее посещением! Например, в доме Ха­баровых: Власьевна и Орина должны были надеть праздничные сарафаны; сам старик Хабаров также при­оделся; притом медяники, горшки, латки – все при­шло в величайшее движение, и в доме не осталось спо­койно камня на камне. Один только Прокопий, возобно­вив в сей день свою анадырскую привычку, преспокойно спал на сарае. Наконец Орина, выбегавшая часто на крыльцо для наблюдения, громко возвестила: идет!

Власьевна бросилась отпирать ворота, а старик Еремей встал на ноги и, ожидая ее в избе, ворчал про себя:

– Что ее нелегкая-то несет! Не куриц ли опять пе­ресчитывать?

Наконец воеводша, с помощью Орины и Власьевны, поднялась на крыльцо и начала пролезать боком в изб­ные двери. Тут должна была она несколько согнуться, потому что над дверями, как нам уже известно, возвы­шались полати. При сем положении обруч, на котором утверждалось ее платье, приподнялся одною стороною кверху и задел за дверной крюк. Воеводша же, не при­метив этого, вдруг шагнула через порог, прихлопнула за собою дверь и осталась в столь комическом положе­нии, что сам Еремей, человек молчаливый и степенный, едва не захохотал, смотря на ее позицию. Положение ее было еще тем затруднительнее, что Орина и Власьевна остались в сенях и не могли помочь ей: ибо с каждым разом, как принимались они отворять двери, тянули назад воеводшу, которая по тучности своего тела не мог­ла свободно пролезть назад в двери. Наконец Орина, кое-как просунув в дверь руку, отцепила проклятый обруч, и освобожденная воеводша, задыхаясь от усталости и гне­ва, села на скамью. В сию критическую минуту она со всей справедливостью могла быть уподоблена огромной пороховой бочке, готовой при малейшей искре взорвать все на воздух. Она начала речь с хозяевами сердито и отрывисто и без дальних околичностей тотчас при­ступила к делу, полагаясь в успехе на свой воеводский сан.

– Послушай, Сергеич! – сказала она Еремею. – Я пришла тебе сказать, чтобы ты свою внучку выдал за Сибиркина. Он ее стоит, да и перестоит. Ну что ж мол­чишь? Отдаешь ли?

Еремей, хотя был не более как казацкий сотник, но по летам своим и по твердости своего характера не любил ни перед кем унижаться и, обидевшись тоном воеводши, также решительно и отрывисто отвечал ей:

– Не отдам!

– Как не отдашь? – возопила воеводша, у которой таившийся пламень гнева вдруг вспыхнул и пробился даже сквозь толстый слой белил, покрывавший лицо ее. – Как ты не отдашь, когда я тебе приказываю?

– Нет, в этом деле мне никто не может приказывать: я тут сам себе воевода. Я знаю, что Сибиркин мо­тыга, что он...

– Замолчи, старый хрен! Лучше себя поносишь! Я поставлю на своем! Твоя внучка будет за Сибиркиным!

– Нет, не будет, – отвечал хладнокровно Еремей.

– Так будет же! Увидишь!

С неизобразимым пламенем ярости оставила воевод­ша дом Хабаровых, забыла прежнее свое церемониальное шествие и, отмеривая превеликие шаги, шла с поспешностью по улице и толкала с дороги, как говорится, встречного и поперечного. К несчастию, на ту пору сми­ренной супруг ее вышел из провинции, увидев расстро­енное состояние ее духа, подождал ее на улице и со всем уважением осмелился спросить:

– Что это, матушка, ты так обеспокоена? Уж кто не огорчил ли тебя?

– То-то, не огорчил ли! Кабы ты, мой батюшка, был не такой рохля, то бы иначе и все вели себя; а то ведь, видишь, урод уродом!

– Матушка, рад бы всем сердцем угодить тебе: дай ума!

– Дай ума! Ах ты ослиная голова! Да убирайся с дороги-то! Что стал! Ведь все люди-то над тобой смеются!

Она толкнула бедного воеводу, и он, ухватив рукою затылок, отбежал от нее проворно на цыпочках. Воевод­ша по приходе домой позвала Сибиркина и, утаив от не­го несчастное происшествие, случившееся с нею в доме Хабаровых и имевшее сильное влияние на ее предприя­тие, старалась всю вину взвалить на самого Сибиркина, говоря, что Хабаров обвиняет его в том-то и в том-то. В заключение сего сказала:

– Что делать? На себя пеняй!

– Да помилуйте, матушка ваше благородие! – отве­чал Сибиркин. – Чем же я виноват, что им угодно меня поносить? Они и про вашу милость однажды говорили так, что, право, у меня волосы стали дыбом!

– Что такое!

– Да будто вы отняли у них...

– Верно, курицу?

Сказав сие, воеводша сама почувствовала, что сим вопросом подтвердила слова Хабаровых, и невольно за­краснелась.

– Точно так-с! Курицу-с, да еще и с цыплятами.

– И с цыплятами! Ах, мошенники! Ах, разбойники!.. Так дам же я им помнить себя! Не позволю над собой ругаться!.. Надейся, Савва Измайлович, поставлю на своем: Орина будет за тобой либо ни за кем больше! Вишь, какую сказку выдумали!

Сибиркин, услышав от воеводши о худом мнении об нем Хабаровых, хотя более уже чувствовал к ним нена­висти, нежели любви к Орине, и хотя, зная свойство Еремея, не надеялся на успех, но не обнаружил пред воеводшею своих мыслей и благодарил ее пренизкими поклона­ми за доброе участие и обещание.

По выходе его воеводша еще несколько времени была занята воспоминаниями о курице.

– Признаюсь, – говорила она с собою, – тут я дала маху! Но что было делать? Нельзя же было курицу – прости господи! – приложить к образу. Да что, прах их возьми! Дело уже сделано!.. Им жаль курицы, так я то сделаю, что они бы и сто их отдали, да будет поздно! Будет сидеть у моря, ждать погоды.

**ГЛАВА VIII**

Сибиркин, дыша злобою на Хабаровых и Алексея, не умедлил распустить по городу молву о происшествии, ви­денном им в огороде, дав оному самое черное значение. Вредное влияние злословия Орина почувствовала в пер­вый же праздник, явившись на городском лугу. Девуш­ки, видимо, убегали ее и не хотели принять в свой кру­жок, а молодые парни при приходе ее начали шептаться друг с другом и смеялись, указывая на нее пальцами. Орина, приметив перемену в обращении с нею подру­жек, наконец, принуждена была сказать им:

– Что с вами сделалось, подруженьки? Вы словно все будто сердиты на меня!

– Сердиться нам не за что, – отвечала одна из де­вушек.

– Так почему же не хотите взять меня в хоровод?

– Нам не велено!

– Отчего?

– Да оттого, что...

Она не договорила речи и, взглянув на подружек, громко захохотала; равно и все они захохотали с нею вместе.

– Да скажите, ради бога, – сказала огорченная Орина, – что я вам севодни смешна кажусь?

Девушки, не отвечая ни слова, продолжали хохотать. Орина начала осматривать свое платье и пошла к реке, чтобы посмотреть, прямо ли у нее навязана на голову повязка. Девушки, приметив сие, захохотали пуще преж­него и кричали ей вслед:

– Хорошенько оправься!

Возвратившись с реки, Орина сделала им тот же воп­рос, и, не получив опять никакого ответа, рассердилась и с неудовольствием сказала:

– Вы издеваетесь надо мною, кажется, я этого от вас не заслужила.

– А заслужила!

– Чем же?

– Тем, что... да мне говорить-то стыдно.

– Не стыди ни их, ни себя! – сказала Орине одна из старух, сидевших недалеко от девиц около горшка карымского чаю, – Поди-ка лучше домой! Здесь тебе не место, здесь ведь не огород, а ты любишь огороды да кто служит у воеводы...

Старухи засмеялись:

– Хе-хе-хе! – и как будто бы защищая Орину, а в самом деле желая еще более уколоть ее, говорили: – Пол­ноте, Антроповна, обижать девку-та. Уж будто, матка, сама молода не бывала!

Орина при словах старухи закраснелась как маков цвет, залилась слезами и, утирая рукавом глаза, побрела домой. Она прошла в самом деле прямо в огород и спря­талась за хмель, дабы дать полную волю слезам. Горько рыдая, она говорила сама с собою:

– Уж этот братишко Алексей! Что ему за охота пришла обнять меня! Теперь мне глаз нигде показать нельзя! Да, пожалуй, еще и матушка узнает!

Алексей, любивший по вечерам бродить в огороде е мечтаниями о прошлом, и на сей раз также пришел туда. Он услышал голос Орины и, прислушавшись к ее словам, спросил ее:

– Ты, кажется, Оринушка, сердишься на меня?

– И конечно на тебя! Заставил меня плакать! – от­вечала Орина сквозь слезы.

– Как так?

– Посмотрел бы ты, как обошлись со мной подруж­ки на хороводе! Не хотели ни играть, ни плясать со мною. Я была словно оплеванная! Да еще старуха Антроповна упрекнула меня, что ономеднись... помнишь?

– Что такое?

– Ну да, как Сибиркин вошел сюда... Я не знаю те­перь, как и глаза показать в люди. Лучше мне уж на себя руки поднять. Что за жизнь моя будет, когда вся­кий станет смеяться мне в глаза, а я и рта раскрыть не могу, потому что ведь люди-то говорят правду? Ах, бра­тец, братец, что ты это сделал!

Алексей, тронутый сильной горестью Орины, сообра­жая все худые последствия для чести и для счастия це­лой ее жизни, могущие произойти от его неосторожного поступка, притом представляя себе, что он за одолжение Хабаровых заплатил им самою горькою, нестерпимою обидою, ходил скорыми шагами по огороду и, наконец, подойдя к Орине с пылающим от сильного душевного движения лицом, сказал:

– Орина, так ты любишь меня?

– Да ведь это я тебе давно уж сказала! Ты опять не хочешь ли обнять меня? Нет, нет, отойди от меня! И так уж довольно поплакала я по твоей милости!

– Нет, Орина, я не хочу, чтоб ты плакала, я хочу отвратить то зло, которое я нанес тебе. Если ты меня любишь, то скажи мне, согласна ли выйти за меня замуж?

– Вот еще что выдумал! – вскричала Орина, вспых­нув, как зарево, и бросясь бежать, но Алексей схватил ее за руку.

– Остановись! Я говорю с тобою, как твой верней­ший друг. Твоя честь, твое благополучие требует, чтобы ты вышла за меня. Это одно только может заставить молчать злоязычие и возвратить тебе спокойствие. Отве­чай мне, Орина! Умоляю тебя: не стыдись, отвечай мне. Если ты любишь меня, я выпрошу благословение у роди­телей...

– И будто ты не обманываешь меня?

– Я еще никого не обманывал. Разве ты не знаешь меня?

– Но ведь ты сам говорил, что верить нельзя никому.

– Ах, не поминай мне об этом! Скажи мне решительно: согласна ли ты?

Но в это время Орина успела вырвать руку и, бросясь из огорода, закричала:

– Братец, лови!

«Ах невинная и добрая Орина, – думал Алексей, – еще ты не знаешь, какие несчастия ждут тебя впереди в этой жизни... Но знаю ли и сам я, на что решаюсь? Я должен оставить, забыть... кого забыть? Подругу моей юности, которую я так любил и которую так люблю!.. Да, я чувствую, что еще люблю ее! И могу ли сказать своему сердцу, чтобы оно позабыло ее?.. Нет, это не в моей власти!.. Но почему же не в моей? Почему мне не стараться заглушить мою несчастную любовь, когда На­талья первая нарушила свои уверения и свои клятвы?.. Нарушила?.. Но если... Какой свет вдруг открывается мне!.. Разве не может быть это письмо подложное? Раз­ве злоба и клевета не в состоянии употребить лжи для достижения своих коварных целей?.. Боже мой! Что мне делать? На что я должен решиться?.. Здесь призывает меня долг, там любовь... Но разве и там нет для меня обязанности? Разве Наталью я могу сделать несчаст­ною?.. Ах, может быть, в этот самый час она думает обо мне: она, может быть, проливает также слезы, как я; может быть, последняя надежда ее на одного меня – и я покину ее навсегда!.. Нет, не могу!..

Между тем как Алексей колебался таким образом между долгом и страстью, Власьевна, не нашедшая до­чери своей в кругу девушек и приметившая по возвраще­нии домой расплаканные у ней глаза, убеждениями и уг­розами довела ее до признания. Легко догадаться, что известие Орины было для Власьевны острый нож в серд­це. В пылу гнева она дала, как говорится, ни за что ни про что сильную пощечину бедной своей дочери и нажа­ловалась на Алексея его матери.

Больная старушка была чрезвычайно поражена сею жалобою. Едва Алексей вошел в куть, как она со слеза­ми на глазах начала ему выговаривать:

– Ах, Алешенька, я не ожидала от тебя этого!

– Что такое, матушка?

– Ты знаешь что! Я хвора, больна; ты видишь, что я смотрю в гроб, и ты не жалеешь меня?

– Как не жалею, матушка?

– Если бы жалел меня, не то бы и было: стал ли бы ты обижать тех, которые меня призрели, когда я была еще ребенком, и не оставляют меня, бедную, в старости. (Она громко зарыдала.)

– Но чем же я обидел их?

– Не отпирайся, Алешенька! Тебе бояться меня не­чего, я не могу с тебя взыскивать.

– Матушка, я не хочу запираться перед вами, я рас­скажу все, как было, и вы увидите, что я не имел ника­кого худого намерения.

– Я этого и не думаю, Алешенька! Храни, боже! Но все, как бы то ни было, ты сделал худо, очень худо и погубил бедную Оринушку!

– Ах, матушка!

– Посуди сам, кто теперь возьмет ее, когда целый город трубит про нее Бог знает что!

– Как же помочь этому?

– Дружок мой, я бы не стала тебе и говорить, кабы это дело было уже неисправимое. Ты можешь помочь этому, если не захочешь губить Орины и меня уморить вместе с нею: ты знаешь, как я люблю ее! Кто бы за мной ходить стал, кабы не она? Ведь словно дочь родная, моя голубушка!

– Чем же могу помочь я, матушка?

– Тем дитятко... подойди ко мне поближе, мой ми­лой!

Алексей подошел к ней, и она сказала ему на ухо:

– Тебе надо жениться на ней.

– Матушка, я не могу этого сделать!

– Если ты не хочешь положить меня в гроб, то должен согласиться на это!..

– Матушка, пожалейте меня! Я готов решиться на все для вас, но это...

– Так отойди же от меня! Не называй матерью и не знай меня! Видно, ты для того и приехал сюда, чтоб скорее зарыть меня в землю!

– Матушка, ради бога!..

– Отойди и не знай меня! Я умру и без тебя, най­дутся люди, чтобы закрыть мне глаза!

Алексей в отчаянии стоял подле одра своей матери, которую сильное душевное волнение повергло в совер­шенную слабость. Она побледнела, закрыла глаза и казалась умирающею. Совесть, скорбь, ужас терзали душу Алексея. Он видел, что делался невольным виновником несчастия милого и доброго существа и убийцею собст­венной своей матери. Ах, душевная буря сто крат ужас­нее бури стихийной! Здесь еще можно найти себе убежи­ще, но там... его нет! Алексей изнемог под ее ударами, твердость его исчезла, и он, произнеся тихо с глубочай­шим, смертельным вздохом:

– О, Наталья! Я теряю тебя навеки! – сказал своей матери: – Матушка, успокойтесь, я исполняю вашу волю!

Мать его долго не приходила в себя и лежала в мерт­вом забытьи. Но жизнь еще раз восторжествовала над смертью; опять начали мало-помалу возвращаться телес­ные силы, и больная, выйдя из забвения, сказала:

– Отойди от меня, несчастный сын! Дай мне уме­реть спокойно!

– Матушка! Я согласен исполнить вашу волю!

– Ты соглашаешься? – спросила она с радостью и удивлением.

– Да, матушка!

– Так позови же ко мне скорее Оринушку. Я давно уже говорила с ее дедушкой и с ее родителями, и они были весьма рады.

В сие время Орина и Власьевна сидели на крыльце. Кроме их дома никого не было. Старик Еремей еще с утра ушел в лес за вениками, а Прокопий дежурил в пи­тейном. По приходе Орины и Власьевны больная, обра­тись к последней, сказала:

– Ну, матушка Маремьяна Власьевна! Если ты не отдумала, как давеча мы говорили с тобой, то благосло­ви дочку-то: Алешенька согласен...

В сию критическую минуту Орина не знала, куда оборотить глаза и куда деваться с руками. Прекрасный румянец покрыл ее полные щечки; грудь поднималась волнами, и глаза блистали необыкновенным огнем. При виде ее самое каменное сердце не могло бы остаться рав­нодушным; мог ли же Алексей огорчить ее своей холодностью? Он не чувствовал к ней пламенной, всепожигающей любви, которая однажды в жизни возгорается в на­шем сердце и которая ярким огнем освещала в его вооб­ражении образ незабвенной Натальи, но все-таки он не мог ненавидеть и Орины и любил ее, как существо милое и доброе. Присутствие ее произвело в его сердце глубокое соболезнование к ее участи и, поклявшись в душе соделать, по крайней мере, ее счастливою, он старался принять по возможности веселый вид и скрыть от нее свою тяжкую горесть. Между тем Власьевна отвечала его матери:

– Я не прочь от этого, Степанида Ивановна! Да вот что, лучше же подождать нам батюшка... О Прокопье-то я не забочусь: он, чай, теперь храпит во всю Ивановскую, да и не заспорит, когда Еремей Сергеич...

– Что вы меня поминаете? – спросил Еремей, вошедши в избу.

– Да вот, батюшко...

Власьевна рассказала Еремею, о чем шло дело. Ере­мей, любивший Алексея, был весьма рад сему проис­шествию и сказал с непритворным удовольствием:

– Ну что ж? Слава богу! Я тоже не прочь, ведь я и прежде уже сказал это Ивановне.

– Итак, благослови же, Еремей Сергеич, моего сы­на, – говорила ему мать Алексея, – как в прошлое время ты благословлял и меня.

– Ладно, ладно!

Еремей снял со стены образ, благословил им Алексея и Орину и потом подал его больной, которая с помощью Власьевны приподнялась несколько с постели и, благо­словляя Алексея, сказала замирающим голосом:

– Ну, Алешенька, друг мой! Ты видишь, я почти умираю, но не измени же своему слову и помни, если ис­полнишь его, то благословение пребудет с тобою отныне и довеку, если же... то и забудь, что у тебя была мать!

Произнеся сие, больная опять ослабела и закрыла глаза, ибо необыкновенное напряжение души, так ска­зать, разрушило разом ее телесные силы. Все стояли около нее в изумлении. Наконец по распоряжению Еремея Алексей побежал за священником, но уже было поздно: тайна, именуемая смертью, совершилась, и гроз­ная вечность спустила завесу своего неразрешимого мол­чания!

После сего Алексей перешел на другую квартиру, да­бы утушить злоязычные толки, уговорившись с Хабаро­вым не открывать до времени положенного между ними. Таким образом, еще прошел год, в котором ничего не случилось в судьбе Алексея достойного внимания, ибо мы не беремся описывать происшествий сердца, приливы и отливы горести, бури отчаяния, ясные часы надежды, борение чувств: непогасаемой любви к Наталье и собо­лезнования к Орине, желания свергнуть с себя тяжкое бремя обязанности и ужас навлечь на себя проклятие матери. Наконец годовщина по смерти ее была отправле­на, и более препятствия к свадьбе никакого не предстоя­ло. Но увлекаемой неодолимой привязанностью первой любви, бедный Алексей, хотя уже не видел никакой на­дежды к соединению с Натальею, еще наведывался о ней, еще старался получить хоть какую-нибудь весточку о своей любезной, покидаемой им навсегда; однако ж все его старания были тщетны, и наступал день, в кото­рый, дав клятву быть верным другой, он должен был уже считать самую невольную и самую невинную мысль о ней – преступлением! И по странному закону сердца чем более между ним и Натальею выдвигалась, так ска­зать, преграда вечной разлуки, тем более воспламеня­лась его любовь, и душа его летела к ней со всею стре­мительностью страсти. Каково же должно быть его по­ложение в тот решительный час, когда, явясь в дом Ха­баровых, он готовился уже идти с невестою в церковь?

Уже вся церемония, наблюдаемая при отправлении к венцу, была кончена, коса невесты продана, и Алексей уже повел ее из дому, как вдруг прибежал гонец от вое­воды с настоятельным приказанием, чтоб Алексей тотчас приготовился к дороге и немедленно явился в провин­цию. Не скажем, чтобы Алексей обрадовался сему слу­чаю, ибо, решившись уже пожертвовать собою, он забыл о себе и думал только о положении своей невесты и ее родных, которых сия неожиданность повергла в величай­шее смятение. Невеста была почти без памяти. Власьев­на, хлопоча около нее, сама едва держалась на ногах, быв поражена страхом и огорчением. Сам Прокопий, любив­ший горячо свою дочь, также был огорчен и расстроен, сидел смиренно около стола и, казалось, даже не приме­чал стоявшую на нем полную чарку наливки. Старик же Еремей, догадываясь откуда пущена стрела, бранил без пощады воеводшу:

– Бухря проклятая! Злодейка! Вишь, как подкосила нас! А за что? За то, что в дверях увязла! Кто ж виноват, что сама на себя набиваешь обручи, словно на бочку! Да, правда, ты и походишь на нее, окаян­ная!..

Догадка и огорчение Еремея были справедливы: дей­ствительно, внезапная командировка Алексея была след­ствием интриг воеводши, которая, услышав о свадьбе его, опять вспыхнула прежнею злобою на Хабаровых и поклялась подбросить полено к ним под ноги – это было любимое ее выражение.

– Не перешагнут небось! – говорила она, пылая злобою. – Заклохчут по-куриному! Вспомнят царя Давы­да и всю кротость его!

Она призвала к себе немедленно мужа, объявила ему строжайшее приказание, чтобы он немедленно сделал по­становление об отправлении для осмотра и ревизии уезда своего товарища и о прикомандировании к нему Алексея. Надобно сказать к чести воеводши: она весьма была намешана в разных приказных выражениях. В за­ключение сего приказа она примолвила, что ты-де напи­ши да подпиши, да держи в тайне, а когда и как объявить, это уж предоставь мне.

– Все будет исполнено по твоему хотению, матушка Марья Евстефеевна! – отвечал порабощенный ее воле супруг и удалился с пренизким поклоном.

По уходе же его воеводша изволила пригласить к се­бе воеводского товарища и сама объяснилась с ним о своем намерении, ибо, по словам Нерчинской летописи, товарищ воеводы был короткой приятель г-жи воеводши и даже – так повествует тамошний летописец – имел участие с воеводою в правах, совсем не относящихся до дел службы. Таким образом, сей полномочный участник воеводы, не желая огорчать воеводшу, также никому не объявил о своей поездке, хотя и приготовлялся к ней благовременно. Бедный же Алексей, жертва изысканной ненависти озлобленной женщины, принужден был соб­раться в путь кое-как и едва имел время проститься со своею невестою. Сия последняя в исступлении забыла всякое приличие, бросилась к нему на шею и вопияла, рыдая:

– Друг ты мой милый! Злые люди разлучают нас с тобою навеки!

Алексей старался утешать ее.

– Нет, нет, – вопияла она, – мы не увидимся с то­бою: я это чувствую! О, прости, прости навсегда!

Она упала на землю и была без памяти отнесена домой.

**ГЛАВА IX**

Путешествие Алексея продолжалось более месяца. На­конец начальник его вздумал заехать в стойбище тунгу­сов, находящееся на реке Ингоде.

Тунгусы есть единственный народ в Сибири, кото­рый ведет в полном смысле жизнь бродящую и скитает­ся раздельно семействами в обширных, неизмеримых пустынях,, простирающихся от Енисея до Охотского мо­ря между 50 и 65 градусами широты. Там известны им также каждая гора, каждый овраг, каждое дерево, как нам, жителям обществ, городские улицы и дома. Тунгус, положив на плечо ружье, приказывает жене явиться со всем скарбом и с семейством к такому-то оврагу, и она, собрав берестяную свою юрту и закинув за плечи груд­ного младенца в турсуке, обтянутом кожею, отправляет­ся преспокойно на показанное место. Тут семейство тун­гуса остается до того времени, покамест не съест дотла убитого им зверя, потом тунгус опять идет далее, и опять вслед за ним отправляется его семья и его дом. Трудно найти другой народ в земном шаре, который бы столько же, как тунгусы, был привычен к перенесению самых величайших трудностей, ибо надо представить се­бе, что тунгусы проводят целую жизнь в беспрерывной битве с дикими зверями, посреди хладных пустынь, за­щищаемые от морозов одною берестяною юртою. По необходимости приучаясь к морозу, они, как сказывают очевидцы, в самую первую минуту рождения младенца опускают его в снег – пятую стихию, в которой он дол­жен проводить свою жизнь. Целый год они бродят в пус­тынях и только к известному дню приходят на назна­ченное правительством место для заплаты ясака и для снабжения себя ружьями, порохом и другими вещами, необходимыми в их быту. Таковые места суть или селе­ния, как, например, Баргузин и Олекма, или только одни зимовья, как, например, на Вилюе, на Маме и других реках. Сей вечно бродячий народ доказывает ясно, что человек не может существовать вне общества: число тун­гусов не только не равняется с другими сибирскими на­родами, но еще и уменьшается с каждою переписью. Но не пользуясь удобствами общества, они не чувствуют зато и тех невыгод, тех потерь и печалей, которые с ним сопряжены неразлучно. Они не думают о богатстве, о чес­ти, о славе, не заботятся о завтрашнем дне и не увели­чивают тем горестей настоящего, не знают ни роскоши, ни изобилия и последний кусок свой съедают с непри­творной, всегдашней веселостью, делясь им дружелюб­но с каждым пришельцем. Нет между ними высоких доб­родетелей, зато нет и резких злодеяний. В случае же ссор и несогласий спорящие или предают себя на сужде­ние своих старшин, очищаются клятвою, или решат спор поединком на луках и весьма редко выходят на суд рус­ского начальства. Было время, когда между всеми нерчинскими несчастными не было ни одного тунгуса. Ра­зумеется, все пременяющее время имеет, хотя и слабое, влияние и на тунгусов, несмотря на защищающие их го­ры и дебри: добрые и худые обычаи общества начинают уже вторгаться и в их трущобы. Но перемена сия весьма нечувствительна, и тунгусы поныне находятся на той же точке в кругу человечества, на какой они были лет за восемьдесят, то есть время пребывания в стойбище их Алексея.

Тунгусы, как и буряты, делятся на роды. В Нерчин­ском уезде кочуют родов до пятнадцати по рекам Онону, Шилке, Аргуни и Ингоде. На сей последней реке жи­вет управляющий ими в звании тойона, или тайши, князь Гантимуров, коего род, происходя из тунгусского пле­мени, крестился и совершенно переродился в русских.

Князь Гантимуров принял воеводского товарища с ве­ликой честью, угощал его со всей щедростью и, наконец, назначил для увеселения его облаву – любимейшее удо­вольствие вельмож монгольских и даже самого владыки срединного и поднебесного государства пресветлого Бог­дыхана.

Еще июньское солнце не поднималось из-за отдален­ных гор, как уже толпы тунгусов, заключавшие в себе более двух тысяч человек, собравшись по призыву князя на берега Ингоды, сидели уже на конях и ожидали его повеления. Оружие их состояло из луков и копий, а одежда, приспособленная к роду бродячей и звероловной жизни, из самой короткой и напереди открытой. шубы, кожаного нижнего платья, длинных унтов и нагрудника, украшенного у иных жестяными идолами. На голове не было никакой шапки. Рост их был средний. Физиономия более подходила к русской, нежели к общей монгольской, равно в телодвижениях и в осанке было более живости и мужества, чем у братских. Притом замечательно, что у многих на лицах были вышиты черными нитками раз­ные изображения, как то: линии, дуги и т, п. Князь по­дал знак, и толпы начали разъезжаться, дабы, окружив лес на великое расстояние, потом мало-помалу съезжать­ся и, таким образом, выгонять зверей, застигнутых в кругу, к назначенному месту. Место сие было на берегу Ингоды на высоком холме, на котором был поставлен балаган для князя и его гостя. Около балагана было поставлено человек до тридцати тунгусов, также воору­женных луками: это был род княжеской гвардии, вы­бранный из знатнейших родов, составляющих тунгусское дворянство (оторикан). Князь сидел перед балаганом вместе с гостем и с четырнадцатилетним сыном на голой траве и пристально смотрел в лес, по которому разда­вался нестройный крик, гарканье и дикое завыванье труб. Толпы охотников, составив круг, простирающийся в диаметре верст на десять, наконец съезжались, и несчастные звери, избегавшие смерти, начинали друг за дру­гом выбегать на луг. При появлении их князь, взяв ле­жавшую подле него винтовку, сел на лошадь и в сопро­вождении сына, также с винтовкою на лошади, и воору­женных стражей спустился с холма. Подле же балагана остались товарищ воеводы, Алексей и еще один молодой продавец разных товаров, привлеченный слухом о за­мышляемой облаве, на которой при необходимом стече­нии народа он надеялся с успехом расторговаться.

Первая жертва, выбежавшая из лесу, был трусливый ушкан, который, увидя впереди себя толпу людей и не зная, куда деваться от гонителей, стал на задние лапы и с трепетом ожидал смерти. Раздался выстрел, и бед­ный ушкан залился кровью. Выстрел сей был произве­ден сыном князя, и отеческое сердце не могло нарадо­ваться меткости сыновней руки.

– Браво, Павлуша, браво! – закричал князь. – Лихо попал! Ну-ка наметь вон в белку... Экая бестия вспрыг­нула на дерево.

В самом деле белка взлетела как птица на дерево и скакала как пуля по вершинам сосен. Вдруг меткая стре­ла взвилась с тетивы и уже была на близком расстоянии от цели, как вдруг другая перешибла ее, и громкий смех дикой толпы раздался по лесу.

– Ай да Атунга! – сказал князь. – Ты славно стре­ляешь.

Между тем Атунга опять уже пустил стрелу, и бед­ное животное полетело стремглав с дерева.

– Не могла отскакаться! – кричали с хохотом тун­гусы. – Видно, стрела-то еще удалее.

Вслед за белкою несся по лесу, казалось, опереживая преследующий его гул, ветвисторогий олень, но при са­мом, так сказать, вылете из трущобы несчастный задел рогами за ветви и, повиснув на них, отпрянул назад.

– А попал, голубчик! – сказал с веселою улыбкою князь, прицеливаясь в него из винтовки. Уже он был го­тов спустить курок, но в сие самое мгновение с шумом разделились древесные ветви и из дебри выпрыгнул разъяренный сохатый. Он дал несколько мгновенных скачков и, пролетев подле самого княжеского коня, с ле­ту вонзил рога в стоявшую подле него лошадь одного из выехавших из лесу облавных и перепрокинул ее навз­ничь. Седок грянулся на землю. Сохатый был готов и его также поддеть на рога, но в то же мгновение устре­милось на него несколько копий. Несмотря на превосход­ство числа врагов, сохатый сильно оборонялся, но, нако­нец, пал, пронзенный насквозь двумя рогатинами.

– Экой задорной! – говорил князь, слезая с лоша­ди. – Ну спасибо, ребята! Потешили! Да где наш ра­неный?

– Вон бежит все еще без оглядки к балагану, – отвечал один из тунгусов. – Ведь он, бачко, страшный трус!

– Неужели? Я не думал, чтобы тунгус мог быть трусом.

– И, бачко! И между нашим братом есть много раз­ного народа.

– Да чем же он добывает себе хлеб?

– Не знаем, бачко! Только, кажись, голодом не си­дит. Ведь он все больше около русских трется.

– Как его зовут?

– Шеминга Уркундуев.

– Да что это? Кажется кто-то схватил его?

– И он вырывается...

– Да, это что-то странно!

Князь пошел пешком к балагану за своею свитою, а прочие охотники поехали к своим юртам, раскинутым по берегу Ингоды, где толпились их жены и дети. Первые были одеты почти так же, как и мужья их, кроме нес­кольких побрякушек (удин), прицепленных к платью вместо украшения, собою довольно красивы и статны, мо­лодые – веселы и развязны в приемах. Мужья их по приезде к юртам, связав чумбурами ноги лошадей и пустив их гулять по полю, сели на траву кружками около огней и, закурив ганзы, весело начали разговаривать между собою: ибо многие из них, расставшись друг с другом на какой-нибудь горе или в глубокой пади, не ви­дались по нескольку лет. Несмотря, однако ж, на долго­временную разлуку, никто из них не оказывал при сви­дании с приятелем особенной радости, так как каждый готов был и расстаться с ним без особенной печали. Содержанием их разговоров, как само собою разумеется, были лесные их похождения. Иной хвалился пред своими товарищами, как он между многими следами отличил след бабра и, догнавши его на лыжах, убил стрелою на рас­стоянии саженей пятидесяти; другой гордился своей ловкостью, рассказывая, с каким проворством он успел увер­нуться за дерево от пустившегося на него рассвирепевше­го кабана; третий говорил, как медведь, попавшись в кап­кан, отгрыз себе лапу, чтоб освободиться от него, и что потом сам же наткнулся на самострел; четвертый рассказывал без приметной, однако ж, печали о несчастной погибели товарища, убитого деревом во время бури, с сожалением присовокупляя к тому, что, зарыв его в землю, он положил последние остатки табака и потом целый ме­сяц курил один мох; и что, возвратившись к нему на мо­гилу по прошествии зимнего года, помнится-де в первых днях илкуна, он не забыл попотчевать покойника частью медвежатины и добрым приемом мухомора.

Во время сих разговоров по повелению князя нача­лось угощение охотников, которое по своему обряду и чистоте совершенно сходствовало с бурятским, выше на­ми описанным. По сей причине мы упомянем только о том, что в пище тунгусы не употребляют большой раз­борчивости и едят все что ни попало. Но, разумеется, на празднике князя были приготовлены убитые во время облавы звери, с прибавкою нескольких штук рогатого скота. Сверх мяса было разносимо топленое сало и жир, который гости с великим аппетитом черпали горстьми и ели без соли и хлеба. Наконец, вместо десерта подали разные растения, любимые тунгусами, как то: коренья, находимые в норах известного рода мышей, называемых домовитыми, большие груды сараны, коей корень имеет вкус довольно приятный, комки из кырлыку и молочайнику и другие. Вместо хлебного вина слу­жило, как и у братских, вино, выкуриваемое из молока. Сы­тые и развеселившиеся, тунгусы блаженствовали в пол­ном смысле сего слова, как древние гипербореи, но внезапно внимание их было поражено вдруг разнесшею­ся молвою: «Шеминга Уркундуев украл у купца това­ры». Тунгусы, почитающие воровство величайшим пре­ступлением, которое по сей причине и случается между ними весьма редко, вскочили все с великим неудовольст­вием с мест и побежали к княжескому холму, на котором производился суд, браня от всей души плута Шемингу.

Купец, поймав сего тунгуса, притащил его сперва к воеводскому товарищу и принес жалобу, что Шеминга назад тому недели с две или с три ночевал с ним в де­ревне Бянкиной, украл у него четыре конца дабы и рано поутру из деревни скрылся; и что он-де, купец, с тех пор нигде не мог его увидеть. Товарищ приказал отобрать от него по форме показание Алексею, который, уведя его в свой балаган, поставленный в недальнем расстоянии от княжеского, начал допрос:

– Как зовут тебя?

– Парфен Прохоров сын Коробойников.

– Чьими торгуешь ты товарами?

– Я послан от купца Неудачина...

– Боже мой! Это ты Парфенко... Ах извини, брат, что так сорвалось с языка!

– Ничего, сударь! Я давеча и хотел было спросить вашу милость: не вы ли, дескать, это Алексей Федоро­вич, да не смел. Вы, вишь, какие пасмурные.

– Ну что, каково поживает Гаврило Васильевич?

– Хорошо, сударь! Он ведь теперь в Иркутске...

– Как в Иркутске?

– Да так, сударь! В заводе не захотела жить его хозяюшка, так он и переехал в Иркутск, да после и сам был не рад...

– Отчего же?

– Да оттого, сударь, что по смерти Жолобова дер­жал потихоньку у себя его дочь... Ведь она, говорят, бы­ла сговорена за вас?..

– Была, – отвечал Алексей с глубоким вздохом.

– Ну так ревизор, узнав, что она живет у Гаврилы Васильевича, ужасно озлобился да и хотел тоже сделать с ним, что сделал (собака!) с ее отцом.

– О боже мой! – говорил потихоньку Алексей.

– Гаврило Васильевич узнал об этом (ведь его про­вести-то мудрено!) да и скрылся из города. Уж ревизор искал, искал его, во все концы гонцов рассылал: нигде нет! А он жил, почитай, подле города, в старом каштаке, знаете, что на Клубнишной горе. Никто не мог до­гадаться. Знал только я один и через день носил ему есть. По нашему счастью, скоро ревизор-то околел.

– Как! Разве он умер?

– Как же! Неужто вы не слыхали? На сговоре у Груздева.

При сем слове Алексей побледнел. Не примечая сего, продавец продолжал:

– Такую наделал тревогу, что и господи упаси! А в это время невеста куда-то и скрылась...

– Как скрылась?

– Да, сударь! Она скрылась. Ведь сын Груздева хотел жениться на дочери Жолобова!..

– Я слышал это, – отвечал Алексей, едва сохраняя наружное спокойствие.

– Ну так она и скрылась в самый сговор, и теперь неизвестно, где она. Говорят, что она нарочно притво­рилась, будто согласна выйти за Гришку Груздева, а са­ма только о том и думала, как бы убежать из их дому, и какой-то мальчишка видел, как она дня за два или за три до сговора отдавала какую-то записку дурочке Ак­синье.

– Неужели это правда?

– Да, помилуйте, мне лгать не из чего! Это весь Ир­кутск знает! Ведь, говорят, она все еще думала о вас, доколе не прочла вашего письма.

– Какого письма?

– Ну да которое вы писали прошлого года к старухе Сидоровне о своей свадьбе.

– Боже милостивый! – вскричал Алексей, схлопнув руками и упав ничком на стол. – Нас погубили с нею обоих!

Прошло несколько минут, но Алексей все еще оста­вался в том же положении. Наконец Парфен был при­нужден сам напомнить ему о продолжении допроса.

– Алексей Федорович!.. Извините, батюшко!.. Смею напомнить вашей милости... – Алексей не отвечал ни слова. – Не пора ли начать, батюшко? Не спроси­ли бы!..

Ответа опять не было. Помолчав, несколько, Парфен решился было пошевелить Алексея рукою, но в эту самую минуту подбежал к балагану тунгус и громко вскричал:

– Купец, иди скорее: зовет князь.

Между тем как производился означенный допрос, князь, узнав по приходе в балаган, что товарищ воеводы хотел произвесть следствие на бумаге и писать судебное дело по законной форме, завел с ним ужасный спор, до­казывая, что по силе прав, дарованных ему от престола, разобрание и решение сего дела принадлежит ему. На­против, товарищ, надеясь сделать, как говорится, барана из мухи, в благом намерении поживиться от торговца невольной благодарностью, защищал свою власть и тре­бовал сие дело под свою расправу. Но трудно было ему взять верх: ибо князь, быв гордого и вспыльчивого ха­рактера, сказал ему наотрез:

– В своем месте я господин и, что сделаю, буду от­вечать сам. Прошу не мешаться!

Товарищ должен был покориться силе, и князь, велев позвать Парфена, объявил обвиняемому им тун­гусу:

– Хотя ты и запираешься в воровстве и хотя нет против тебя никакой улики, но как ты выказывал себя трусом, чему между нашим родом я еще не слыхал и при­меров, и как все единогласно говорят, что ты и живешь не так, как должно жить честному тунгусу: то и не могу я положиться на твои слова, как бы сделал я и со всяким другим, и приказываю тебе очиститься присягою.

Тунгус побледнел при сем слове, однако ж, не отка­зался от акачана (клятвы). Он выдернул с пояса нож и, размахивая им против солнца, произнес:

– Буде я виновен в сей краже, то пусть солнце пове­лит также разметаться болезням в моем теле, как я раз­махиваю этим ножом.

– Ах ты мошенник! – вскричал подбежавший к нему Парфен, схватив за конец дабы, которой целый кусок, быв спрятан у него под шубою на спине, во время паде­ния его с лошади развязался и помаленьку скатывался на низ. Страшный ропот начался между стоящими у хол­ма тунгусами, и сам князь, вспылив, как бочка с поро­хом, дал собственною княжескою рукой несколько оплеух тунгусу и, столкнув его с холма, закричал толпе:

– Делайте с ним что хотите!

Тунгус в страхе скатился вниз кубарем и лежал, свер­нувшись, как еж. Но когда справедливо раздраженные его единоплеменники начали сечь его своими кнутами, то он вскочил как заяц и бросился к лесу.

– Лови! Лови! – закричала толпа.

Все бросились вслед за ним, но, быв большей частью в нетрезвом состоянии духа, толкали друг друга, па­дали, и таким образом преступник успел скрыться в гус­тоте леса.

При виде сего зрелища князь развеселился, прими­рился с товарищем и, садясь обедать на развернутом на траве войлоке, послал за Алексеем, которого приятная и скромная наружность ему весьма нравилась, но Алек­сей сказался больным. Он в самом деле был болен, жес­токо болен, ибо какая телесная боль может сравниться с сим смертельным недугом, который называется отчая­нием? Оно овладело его сердцем: он проклинал день своего рождения, роптал на небо, и (дерзнем ли ска­зать?) обвинял творца, сотворившего его для одного му­чения.

Так слабый и близорукий смертный в часы невзгоды дерзает восставать противу того, кто и самые бедствия для того только посылает к нему, чтобы он лучше чувст­вовал цену счастья земного и не забывал вечного.

**ГЛАВА X**

Во время отсутствия Алексея в Нерчинске произо­шло много весьма важного и забавного. Начнем с дома Хабаровых.

В один, хотя и будничный, день, в начале июня, раз­дался в Нерчинске самый праздничный благовест. Про­копий Хабаров, услышав сие, тотчас начал сряжаться в церковь, но старик Еремей сердито сказал ему:

– Эй, послушай, Прокопий, не серди меня, не ходи!

– Да для чего же не идти, бачко, когда весь город туда сбегается: вишь сколько людей на улице! Все бегут словно угорелые! Ведь там опять, слышь, деньги бросать будут. Так авось и мне что-нибудь схватить удастся.

– Пусть хватают другие, да ты не хватай. Деньги царевы: даром брать их грешно.

– Бачко! Да ведь бросает начальник: знать, сама царица велела ему народ потешить.

– Ах ты, пустая голова! Разве у царицы мало надоб­ностей, куда девать деньги, мало нашей братьи, служи­вых, которые дожили до старости и куска хлеба сами промыслить не могут; мало вдов да сирот, чтобы их на­питать? Станет царица бросать даром деньги! Я тебе скажу просто: Пирушкин кружит на свою голову, и, знать, она у него пустым-пуста!

– Кабы голова у него была пуста, так не послали бы его управлять заводами.

– Вот то-то, Прокопий, ты, вишь, на свете-то еще жил день без утра: поживи подольше, так и увидишь по­больше. Мало ли каких начальников бывает! Матушке царице за всеми не усмотреть!

– Дома ли, Власьевна? – раздался под волоковым окошком старуший голос.

Власьевна отодвинула оконницу и высунула в окошко голову.

– А! Здравствуй, Антроповна! – сказала она. – Что ты так запыхалась?

– Ведь все бегом бежала, матка! Боюсь, чтоб не опоздать...

– Да что там такое деется?

– Опять, слышь, столы расставлёны по ограде для народа и после обедни будут бросать деньги. Народ со всех деревень сбежался да и теперь все еще толпами так и валит в город. И с заводов-то, слышь, привалило сюда многое множество.

– Ах, господи! Уж и несчастные-то не разбежались ли оттуда?

– Да не без того, Маремьяна Власьевна! У меня Ва­нюша (ведь ты знаешь) служит на заводах. Вчера при­ехал да порассказал о похождениях-то тамошних... Гос­поди твоя воля! Что это за причина такая?

– А что такое, Марфа Антроповна!

– Ой, матушка! И в неделю не перескажешь!

– Перескажешь и в час, – шептал про себя Бре­мен. – Ведь язык-то у тебя, словно трещотка пожарная, особенно, как про кого худое сказать есть что.

– Вишь, Пирушкин, – продолжала Антроповна, – приехав на заводы, целый год сидел взаперти и ставней открывать не приказывал, а потом вдруг как белены объелся – прости господи! – объявил всем, что наступил праздник: открытие какой-то новой благодати; приказал, чтобы все каялись в грехах, остановил работы; начал разбрасывать казенные деньги; брать у купцов и также бро­сать в народ разные товары; давать народу даровые обе­ды, при которых сам с офицерами прислуживал; распи­вать казенное вино ... А! Вот бежит Сенотрусиха... По­стой-ка на минутку!

– Нет, нет, пора! Слышь, уж к молебну благовестят! Пожалуй, и время пропустишь!

– Ну добро, уж прощай, Власьевна! Заверну после обедни, так все расскажу.

Обе старухи пустились бегом по улице и едва могли перевести дух, прибежав на церковную ограду. Отдохнув немного, они подошли к церкви и с удивлением смотрели на происходившее в оной.

– Что это, – говорила Сенотрусиха, – поют: Хрис­тос воскресе? Уж дьячок-то, знать, ум пропил: ведь Вознесенье давно прошло!

– Дьячково-то дело подначальное, что прикажут, то и поешь. Вишь, начальник-то велел, чтоб служба все была христовская.

– Неужто? Да уж он не в уме ли рехнулся?

– Господь его знает!

– А что же, Антроповна, – спросила Сенотрусиха по некотором молчании, – все это офицерство-то, знать, с ним сюда приехало!

– Да откуда их экая пропасть?

– Ведь он их сам все нажаловал.

– Неужто? Разве он власть на это имеет?

– Имеет ли, не имеет, да, вишь, жалует. Сказать тебе откровенно, и я просила матушку воеводшу похло­потать о моем Ванюшке... Нельзя ли и его тоже хоть в шишмейстеры... Чем же другие-то лучше его?

– Вестимо, что не лучше, Марфа Антроповна! Нель­зя ли о моем Федюшке тоже слово замолвить. Ведь, чай, ты скоро будешь у воеводши!

– Была вчера, да и севодни приходить велела!

– Вот ты часто бываешь у ней, Марфа Антроповна: правду ли бают, что воеводша просила начальника, что­бы он заставил Хабарова отдать внучку за Сибиркина.

– Мельком проговорила, а досканально не знаю. Да что его просить, стоит только надоумить: ведь он пре­страшной охотник играть свадьбы. На заводах, слышь, всех переженил. Признательно сказать, я не советовала. Сибиркин, как бы то ни было, человек зажиточный и стоил бы лучшей невесты, а ведь про Орину-то летом, помнишь, что говорили в городе.

– Как не помнить! Ты ее тогда хорошо осадила...

– Да уж язык не стерпит; правду всегда скажу: за то меня и воеводша любит... Негодница, пришла еще в хоровод плясать! Как стыда-то в роже нет!.. Ай, уж и многие лета!.. Побежим к дверям-то, Сенотрусиха!

Народ во множестве толпился около церкви. Наконец двери церковные раскрылись, и Пирушкин в сопровож­дении чиновников вышел из церкви. Едва он вступил на церковное крыльцо, как воеводша и еще какая-то подоб­ная ей толстая дама, взяли его под руки и, сходя с крыль­ца, запели любимую Пирушкина песню: «Батюшка богат, черевички купил». Чиновники подхватили ее, и Пируш­кин, приплясывая, дошел до народных столов.

– Денег! – закричал он.

– Казенные уже все разбросаны, – отвечал один из чиновников.

– Так взять у коронноповеренного, а ему дать расписку.

– Батюшко ваше высокородие! – сказала Пирушкину воеводша. – Позвольте напомнить вашей милости, что третьего дня я говорила вам о Сибиркине...

– Да, спасибо вам, что надпомнили. Я забыл было. Тотчас все будет кончено: я откладывать не люблю. Эй, офицер, сбегай к попу, скажи, чтобы не уходил из церк­ви, сейчас-де нужно будет венчать свадьбу... Да что долго не несут денег!

– Я уж принес, ваше высокородие! – говорил стояв­ший подле него Сибиркин. – Вот двадцать пять рублей меди!

– Что мало? Давай все, что у тебя есть! Теперь на­ступил великий праздник: жалеть ничего не надобно. Эй, ребята, ловите!

Он схватил мешок и начал бросать из него деньги.

Народ хлынул как вода. Толпы теснили одна дру­гую. Раздались шум, крик, брань, никому не досталось даром ни одной копейки; оплеухи и тычки сыпались гра­дом, и многие были рады уже тому, что успели выдрать­ся из толпы без увечья. Но не столько была счастлива Антроповна и, идучи домой, закрывала рукою левую сто­рону лица. Власьевна, увидев ее из окошка, останови­ла ее.

– Что ты охаешь, Антроповна?

– Хорошо, что ты, матка, – отвечала Антроповна с некоторым неудовольствием, – сидела дома, а то бы дос­талось и тебе на калачи!

– А черт ли носил? – ворчал Еремей.

– Да кто же это тебя, Марфа Антроповна, так прихлобыснул – ведь синевица-то, матка, чуть не во всю щеку.

– Кто? Уж где тут разбирать станешь. Я только что кинулась, как кто-то (чтоб руки-то у него отсохли!) как ошеломит меня по затылку, ах господи! свету-то не взви­дела божьего! Ткнулась носом о камень да и язык-то чуть не прикусила.

– И поделом! – говорил Еремей. – Слишком длинен!

Слова сии были произнесены довольно громко, так что Антроповна услышала их и ужасно обиделась.

– Эй, уймись, Еремей Сергеич! Полно меня оби­жать! Уж, кажись, вам бы надобно опомниться: бог-то немало карает вас! Погодите, еще и не то будет! Больно зазнались: лучше себя обижаете! Гроза-то недалеко!.. Да вон, чай, к вам и бежит охвицер-то! Послушаем, что тут заговоришь? Не сбавишь ли спеси-то? А то где? Уж его ли, не его ли внучка, словно графиня ка­кая!

– Перестань лаяться, Антроповна! – говорил ей рас­сердившийся Прокопий. – Я выйду, так тебе и на дру­гую щеку такую же бляху посажу.

– Оставь ее, Прокопий, – сказал Еремей, – собака лает – ветер носит! А тебе, Оринушка, я советовал бы куда-нибудь припрятаться. Эта ворона недаром на тебя каркает. Ведь она у воеводши днюет и ночует, так не мудрено, что знает какие-нибудь ее козни, а времена ны­не вишь какие: бог весть что делается!

Раздался стук воротного кольца. Власьевна встала и, взглянув в окно, с ужасом сказала:

– Ай, батюшки! И в самом деле офицер к нам при­бежал.

– Орина! – вскричал Еремей. – Беги из избы и спа­сайся: я вижу, что это недаром!

Орина опрометью выбежала из избы и скрылась в огороде, уже в знакомый нам хмель. Между тем офицер вошел в избу. Наружность и все приемы его показы­вали, что он весьма недавно вступил в звание благо­родных.

– Хабаров, – сказал он, обратись к Еремею, – на­чальник прислал за твоею внучкою. Он хочет обвенчать ее с Сибиркиным. Вели, чтобы проворнее оделась да шла со мной, мне ждать некогда.

– Скажи своему начальнику, – отвечал Хабаров, – что я готов исполнять все его приказания, а в этом деле он мне не указчик, и что внучкою моей он распоряжать­ся не может.

– Эй, старик! Послушай меня: не упрямься, нажи­вешь беду!

– Беды я не боюсь, на своем веку видал я их много! Ты на себя лучше оглянись: ладно ли привесил свою шпагу; не попала бы под ноги да не сшибла бы с ног!

Офицер огляделся, но видя, что шпага привешена у него хорошо, отвечал Еремею:

– Старик, кабы ты был помоложе, так я научил бы тебя, как говорить со мною! Я прислан к тебе за делом: согласен ты или нет?

– Нет!

Офицер вышел на крыльцо, махнул рукою, и шесть человек солдат провинциальной канцелярии вошли на двор.

– Станьте у дверей и не выпускайте никого! Я сей­час схожу и доложу начальнику.

В сие время Пирушкин сидел за столом, где беспре­рывно продолжались тосты. Всякий должен был выпить по огромному бокалу, а не выпивший платил по десяти рублей штрафу.

Пирушкин, узнав о неповиновении, оказанном ему со стороны Хабарова, чрезвычайно рассердился и, подстре­каемый воеводшею, выскочил из-за стола, взял отряд солдат, приказал зарядить ружья и пошел к дому Ха­баровых. Подойдя к оному, он велел вытянуть фронт, но, не начиная осады, послал предварительно к Хабаро­ву парламентера с требованием сдачи. Еремей, выставясь в окно, закричал ему:

– Что вы это затеваете! Господь с вами! Опомни­тесь! Я проливал свою кровь за Отечество, а вы пришли меня разорять. Разве вас на это послала сюда матушка царица?

– Коли не хочешь, – говорил Пирушкин, – чтобы те­бя разоряли, так повинуйся. Сейчас же вышли свою внучку!

– Этого никогда не будет.

– Я прикажу стрелять.

– Стреляй, мне смерть не страшна! Когда я был и молод, и тогда я смотрел ей прямо в глаза, а ты теперь вздумал ею пугать меня!

– Стреляй!

Раздался залп ружей. Власьевна упала без памяти на пол. Прокопий перекрестился, а старик Еремей, не отхо­дя от окошка, захохотал язвительным смехом:

– Что? Испугал ли меня? Прикажи еще хоть пуля­ми зарядить, так и тогда увидишь, что я не сойду с места.

Но и Пирушкин также захохотал, хотя смех его был совершенно отличен. Он заключал в себе что-то неопре­деленное, странное, даже дикое, ибо сумасшествие чело­века ни в чем так не обнаруживается, как в смехе.

– Ну, господа, – сказал он, обратившись к своим подчиненным, – нечего делать с этим уродом, пойдемте дообедывать да грянемте мою задушевную!

Он запел во все горло «Батюшка богат» и пошел с прыжками по улице, а за ним и вся полупьяная толпа, идучи от него в нескольких шагах и приложив руку к щеке, также горланила изо всей мочи сказанную песню.

– Боже мой, боже мой, – говорил Еремей, – когда мой отец, мои товарищи и я сам проливали кровь почти на самом этом месте, думали ли мы, для кого мы рабо­таем, не жалея ни труда, ни жизни? Ах, бывало, беды со всех сторон стеснят нас: и мор, и голод, и дикие зве­ри, и неприятели, – а нас лишь горсть посреди пустыря, но мы и тут не унываем, а утешаем друг друга: «Ну что, товарищи! Потрудимся еще: за богом молитва, а за царем служба не пропадает». Или, бывало, вскричит отец: «Эй вы, соколы ясные! Что опустили крылья? Отряхни­тесь да прибодритесь: так все горе в сторону, как с го­голя вода!» При этом слове так сердце и запрыгает: ног не слышишь под собою, хотя уж дней несколько в роту росянки хлеба не бывало... А вот и еще товарищи! Толь­ко что-то крепко уснули! Дай-ко побудить их. Нет, уж поздно: не разбудишь! Они, брат, уснули сном крепким! Хоть из пушек пали над их головами, хотя гром разразись во сто крат сильнее обыкновенного, хоть бур­ный вихрь вырви весь лес с корня и повали горы: их не пробудишь! Их сон крепок!.. Будет череда: уснем и мы! Только дай бог, чтобы во сне не грезилось чего страш­ного; чтобы не вспало на ум каких-нибудь худых дел, о которых мы наяву, быть может, и позабыли. Дай бог!.. Однако ж меня манит сон! Пора отдохнуть: день вече­реет, уснем до утра!

Еремей, предаваясь мечтаниям, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Власьевна и Прокопий долго смотрели на него с некоторым беспокойством, наконец, подошли к нему и хотели его пробудить, но он уже не пробуждался. Тихий ангел уже пролетел над ним и осе­нил его сном непробудным!

Прокопий и Власьевна были поражены сим проис­шествием, не зная, что им предстоит еще большее испы­тание.

Орина, скрывавшаяся среди хмельника, услышав залп ружей, обеспамятела от страха, бросилась из огорода че­рез забор на улицу и, в беспамятстве добежав до реки, села в стружок и отпихнула его от берега. В это время Шилка по причине продолжительных, пред тем дождей была в сильном полноводии и, наводняемая с окружных гор, бежала со стремительностью водопада. Стружок Орины полетел вниз по воде как стрела, и несчастная, отплыв уже на большое расстояние от берега, приметила, что в нем не было весла и что она зависела от произво­ла течения. Объятая страхом, она держалась дрожащи­ми руками за края стружка и едва могла глядеть на ок­ружающую ее ужасную картину: вода клубилась и пе­нилась, подрывая берега и унося с оных огромнейшие деревья, падавшие с подмытых ею корней. Наконец, стружок набежал на одно из сих дерев, опрокинулся, и Орина едва успела схватиться за ветви.

– Спасите! Помогите! – кричала она, но никто не слыхал ее голоса. Дерево рухнуло, и несчастная девушка была увлечена стремлением реки.

Несколько крестьян из ближнего селения, шедших по берегу, бросились было спасать ее, но усилия их были напрасны. Орина в смертном борении с разъяренною стихиею то скрывалась во глубине, то опять показыва­лась на поверхности воды, наконец, еще раз, собрав пос­ледние силы, поднялась кверху, произнесла невнятный вопль и погрузилась навсегда. В сие мгновение выгляну­ло солнце из-за облака, из которого накрапывал мелкий дождик.

– Уж не утопленник ли? – сказала Власьевна, взгля­нув в окошко.

– Да где Орина? – спросил Прокопий. – Что ты не поищешь ее?

Власьевна бросилась искать свою дочь и, не найдя ее нигде в доме, побежала по домам соседним. Одна ма­ленькая девушка, лет шести, сказала, что видела, как Орина садилась в стружок. Страшная догадка сверкнула в душе матери, и она, выбежав за город по берегу реки, встретилась с поселянами. Те, которые, находясь на высших ступенях общества, привыкли думать, что люди низшего состояния имеют совсем отличную от них приро­ду и что сердце их неспособно ни к каким нежным чув­ствованиям, поверят ли, что Власьевна, услышав о нес­частной кончине своей дочери, упала на землю и была отнесена домой уже мертвою.

Так глупость и необдуманность человека, имеющего власть, бывает нередко причиною расстройства и погибе­ли целых семейств!

**ГЛАВА XI**

По возвращении в Нерчинск Алексей нашел в доме Хабаровых самую печальную картину. Все в нем запус­тело и пришло в беспорядок: огород был растворен, и гряды истоптаны; в избе не вымыто, не выметено, все по­крыто пылью и тенетами, все разбросано и раскидано; все обитатели его исчезли, как сновидения, и посреди разрушения сидел пригорюнившись бедный Прокопий, как Марий на развалинах карфагенских. Он рассказал Алексею о судьбе своего несчастного семейства, и доб­рый Алексей плакал с ним от чистого сердца.

Между тем виновник всего зла полоумный Пируш­кин, окончив сумасбродства свои в Нерчинске, отправ­лялся далее, то есть в Верхнеудинск. Он взял с собой большую часть приказных провинциальной канцелярии, в том числе и Алексея. Путешествие его было самое нео­быкновенное: за ним были везены колокола и пушки; все купеческие клади были останавливаемы и отбираемы с выдачею расписок; повсюду деньги были рассыпаемы пе­ред народом как сор. Таким образом приехал он в одно селение, лежащее на половине дороги между Нерчинском и Верхнеудинском. Тут он вызвал к себе тайшу хоринских братских Данбу Дугар Иринцеева и снова открыл пиршество. Тайша приехал с множеством зайсанов и большою свитою братских. Пирушкин очаровал их своею роскошью, каковой они не могли и воображать посреди своих пустынных улусов: на месте празднества кипели огромные котлы с водою, куда сваливали пудами чай и сахар; вино стояло целыми бочками; сукно, китайка, да­ба, холст – все бросалось даром, без всякого счета. Обе­зумевшие буряты думали, что сему блаженству не будет конца, и виновнику оного не могли ни в чем отказывать. Он начал составлять из них гусарский полк, назвав его Красным Даурским, и опять открыл многочисленное про­изводство в чины. Оно было распространено и на чинов­ников его канцелярии. Предложение о сем было писано самим Пирушкиным, в бумагах которого, по сказанию нерчинского летописца, вообще было заметно довольно ума и склада, вопреки его бессмысленным шалостям. Пирушкин после пасхальной обедни, в продолжение кото­рой он большей частью сам отправлял должность дьяч­ка, велел прочитать при себе в церкви сказанное предло­жение и приподил новопожалованных к присяге, разу­меется, исключая бурят. Все, отблагодарив его пренизкими поклонами, с миною, выражающею самое глубочай­шее почтение, подняли кверху руки; только один Алек­сей не мешался в толпу и стоял безмолвно поодаль.

– А ты что? – спросил сердито Пирушкин. – Ты что не присягаешь?

– Потому что не хочу принять вашего чина.

– Это что значит? Неповиновение?

– Воле начальства я всегда готов повиноваться бес­прекословно, но если оно нарушает само обязанности верноподданничества...

– Как? – закричал Пирушкин, вспыхнув как уголь и стиснув зубы. – Ты вздумал учить меня? Я никому не даю отчета в своих делах! Взять его, сковать и отвес­ти за крепким караулом в Верхнеудинск! Я накажу тебя, ослушник, примерно: пусть увидят, что я умею награж­дать и наказывать!

Алексей не сказал ни слова и вышел из церкви в со­провождении стражи. Между тем негодяи, расположив­шиеся присягать, покачивали значительно головами и шептали между собою:

– Ах, какой беспокойный характер!

Арестант был тотчас отправлен в Верхнеудинск, но там ожидало его совсем не то, на что он решался из ува­жения к порядку, установленному престолом. Воевода верхнеудинский был, можно сказать, антипод нерчннского. Сколько первый был слаб, столько последний тверд; сколько тот глуп и невежествен, столько сей умен и про­свещен. Он видел, что шалости Пирушкина, нарушая общественный порядок, делаются час от часу важнее и вреднее, а потому и принял самые решительные и самые благоразумные меры к становлению его действий: писал к Пирушкину, чтобы сей последний не въезжал в его провинцию со своею опасною свитою; посылал к нему лазутчиков; старался отвлечь от него хоринского тайшу, показав ему действия Пирушкина с настоящей точки; в городе удвоил караулы и в девяти верстах от оного по­ставил отряд войска с артиллериею, секретно вытребо­ванною из Селенгинска. Пирушкин, не слушая увещаний воеводы, прислал в провинциальную канцелярию пред­ложение об отпуске ему золотом и серебром десяти ты­сяч рублей; но воевода ему отказал. Он прислал дру­гое – об отпуске уже сорока тысяч рублей – тоже отка­зано. Тогда, огорченный сим неповиновением, Пирушкин командировал от себя в Верхнеудинск двух чиновников, чтобы воеводу и товарища его отрешить от должностей и сковать, а им вступить в отправление оных; но прис­ланные чувствовали, что действия Пирушкина противны законам, и предались на волю воеводы. После сего Пи­рушкин сам приехал в Верхнеудинск – это было ночью. Он прямо явился перед воротами провинциальной кан­целярии и с криком требовал, чтобы отворили их, назы­вая воеводу и товарища его ворами и бунтовщиками. Во­енная команда канцелярии была поставлена во дворе с приказанием не впускать Пирушкина; но солдаты начали было колебаться и перешептываться между собой, что они не имеют письменного приказа. Начиная от сего поч­ти комического происшествия до важных государствен­ных переворотов, сколь нередко бывают мгновения, в ко­торых судьба противоборствующих сторон зависит от одного решительного слова! Так случилось и здесь! Один дряхлый и уже беззубый ветеран, исполнившись внезап­но духа отваги, вскричал:

– Кто бы вы ни были, в ночные часы пускать ни­кого не велено!

Это слово было громовым ударом для Пирушкина, и он должен был смиренно удалиться от ворот канцеля­рии. Оттуда отошел он к фронту стоящего под ружьем гарнизона, пред которым явился к нему воевода и начал сильно, но хладнокровно доказывать ему нелепость его действий и принудил его отправиться спокойно на отве­денную для него квартиру. Назавтра Пирушкин, по обык­новению своему, опять начал требовать денег и вина; од­нако ж ему приказано было сказать, что воевода денег дать не может и пьянства не любит. Сколь ни неприятен был сей ответ для Пирушкина, но делать было нечего. Оставалось ему только одно действие для выдержания своего характера: идти в церковь и отпеть собственно­гласно молебен. В продолжение сего молебна вокруг церкви были поставлены солдаты. Народу, собравшемуся туда в великом множестве из окружных сел в чаянии раздачи денег, было приказано разойтись и всех выхо­дивших из числа свиты Пирушкина тотчас велено было брать под стражу. Наконец Пирушкин по отправлении службы вышел из церкви и, увидя окружающий оную отряд, не мог не догадаться, что настал конец его сума­сбродству.

– Так я арестован? – вскричал он. – Вот моя сабля!

Воевода, не нарушая должного к нему уважения; веж­ливо просил его идти с ним отобедать на приготовленном для него судне. Пирушкин должен был согласиться на сие и после обеда был отправлен в Иркутск. Тем и окон­чилось сие происшествие странное и неизъяснимое, опи­санное здесь почти точными словами нерчинской хроники!

Само собою разумеется, что оковы Алексея, наложенные на него Пирушкиным, были для воеводы самым луч­шим об нем свидетельством. Он видел, что Алексей по­среди безрассудной толпы невежд был единственное лицо, понимавшее свои обязанности и судившее здраво о происходившем. Сверх сего, самая наружность Алек­сея, благородная и умная, говорила в его пользу. Воево­да долго с ним разговаривал, расспрашивал его как о де­лах Пирушкина, так и о происшествиях собственной его жизни: откуда он, как и почему попал в Нерчинск, и проч. Благосклонное и доброе обращение воеводы (вели­кая редкость в тогдашнее время и в тамошнем крае!) со­вершенно очаровало чувствительное сердце Алексея: он почти забыл, что говорил со своим начальником, и видел в нем самого доброго отца. Наконец воевода сказал ему:

– Вы останетесь при мне, так сказать, домашним секретарем и будете жить со мною, а между тем я поста­раюсь улучшить вашу участь.

В человеческих душах есть какое-то таинственное и непонятное влечение или отвращение друг к другу. Бы­вают души, как бы сотворенные одна для другой, так что первый взгляд уже решит, что они необходимы для вза­имного благополучия: это случилось и с Алексеем. Вое­вода полюбил его с первого свидания: с того же времени и Алексей сделался предан ему, как нежнейший сын. При сем, так сказать, естественном расположении было доста­точно одного месяца, чтобы Алексей и воевода обраща­лись один с другим с такою ж откровенностью, как бы они были знакомы давно.

Алексей был почти единственным собеседником свое­го начальника. Воевода, человек пожилых лет и претер­певший в жизни своей многие несчастия, любил уедине­ние и свободное от должности время посвящал глубоким думам или чтению. Отлично просвещенный, он чувство­вал потребность в обществе образованном; но никто из окружавших его не мог разделять с ним его идей, и ду­ша, постоянно заключенная в самой себе, была подобна путнику, поедаемому неутолимою жаждою посреди пусты­ни. Алексей, хотя не был столько образован, чтобы мог удовлетворить сей потребности, но, по крайней мере, имея чистое и благородное сердце, был способен чувствовать те высокие ощущения, какие желал ему передать муж мудрый и добродетельный. Каждый вечер был упот­ребляем сим последним на чтение книг, большей частью назидательных. Истины религии были преимущественно предметом его разговоров. Сей человек, коего обширный ум быстро обнимал самые возвышенные идеи и коего сердце было проникнуто чистейшим огнем добродетели, был явление самое необыкновенное в Сибири, которая была обязана единственно буре обстоятельств, занесшей его в ее пустыни. Некогда он был на дороге к высшим званиям в государстве, но фортуна всегда ли покрови­тельствует уму и добродетели? Свет обыкновенно рукоплескает счастливцу и презирает несчастного, варварски оспаривая у него и дарования и добродетели. Но высокая душа и посреди всеобщего на нее восстания находит уте­шение в самой себе, ибо в ней обитает бог и вечность. Так и описываемый нами муж, несмотря на претерпен­ные им несчастия, сохранял в душе своей невозмущаемое спокойствие, и с такой же готовностью исполнял свой долг воеводы отдаленной и маловажной провинции, как бы отправлял он и первую государственную должность.

Восстановив по возможности порядок, нарушенный Пирушкиным, воевода доставил обо всем подробный от­чет иркутскому губернатору. Кстати скажем, что занимав­ший сие звание во время суда над Жолобовым был уже уволен и место его заступил другой, человек совершенно противного характера с первым. Воевода вместе с достав­лением отчета донес и об отличном поступке Алексея, объяснив, что в уважение сего он произвел его в губерн­ские регистраторы и оставил при себе в Верхнеудинске; в заключение же просил о совершенном его прощении.

Ответ на сие был самый неприятный для Алексея. Гу­бернатор грозно требовал от воеводы объяснения, как осмелился он произвесть сам в сказанный чин, и предпи­сал немедленно его снять. Воевода отвечал на сие, что он самого себя совершенно предает воле его, губернато­ра, но чина, уже единожды данного, снять не может. Бу­мага была сочинена столь умно и сильно, что губернатор не делал более никакого настояния. В прощении же Алек­сея он отказал решительно. Тогда Алексей увидел, что всякая надежда на возвращение его в Иркутск уже ис­чезла и что, следовательно, Натальи своей он не найдет уже никогда. Глубокая горесть изобразилась на его лице. Воевода, проницательный и хорошо знающий сердце, тотчас заметил, что в сильном желании Алексея возвратиться в Иркутск было нечто особенное. Он принудил его рассказать ему чистосердечно свои тайны и с участи­ем нежнейшего друга старался утешать бедного юношу и поддерживать в душе его надежду на провидение. Алек­сей, привыкший уже каждое слово его считать изрече­нием оракула, притом не преставший упрекать себя за преступную минуту отчаяния, некогда овладевшего его душою, предался совершенно на произвол бога и сми­ренно ожидал всего от его благой десницы. Он и не об­манулся в своем ожидании.

Вскоре после означенной бумаги воевода получил уве­домление о намерении губернатора съездить в Нерчинск, дабы лично исследовать действия Пирушкина, и для встречи его отправился в Посольский монастырь, стоя­щий, как выше уже сказано, на берегу Байкала. Воевода приехал туда в конце июля и должен был ждать губер­натора около месяца. Сие время он проводил большей частью в прогулках с Алексеем по берегу озера; иногда же в тихую и ясную погоду, когда поверхность Байкала лоснилась как зеркало и, так сказать, манила к себе вос­хищенного зрителя, он садился в лодку и пускался в даль моря, отъезжая далеко от Посольской прорвы. Душе его, любившей мечтать о предметах возвышенных, нравилось сие положение, когда земля почти терялась из глаз, а море и небо, символы беспредельной вечности, окружали его отовсюду. Случалось, что в продолжение сих морских прогулок он рассказывал Алексею разные исторические события, происходившие на видимых ими местах.

– Замечаете ли вы, – спросил он однажды Алек­сея, – это синее пятно на самом краю горизонта?

– Я вижу его.

– Что это такое?

– Я думаю, это остров Ольхон.

– А знаете ли, что до него доходил Чингисхан и в память этого поставил там на вершине одной горы боль­шой таган и на нем огромный железный котел.

– Памятник не отличный! – сказал с улыбкой Алек­сей. – Разве этот Чингисхан поставлял себе за честь про­слыть великим поваром?

– Да, он в самом деле был великий повар и в котле своей заворохи вскипятил большую часть вселенной, на­чиная от нашего Онона до Волги: Тангут и Сифаней, обе Бухарии, Хорезм и Северный Китай горели под его оча­гом, и тяжелый дым едва не задушил всей Европы,

– Вы хотите сказать, что Чингисхан был завоева­тель?

– Да, и завоеватель, каких мало представляет нам древность! И этот завоеватель родился в нашем забытом краю и был из того народа, который после удалые Хаба­ровы, Нагибы, Степановы так били без пощады и без счету! Вот как время все изменяет на земле!

– Так Чингисхан был монголец?

– Он был родоначальник нескольких сотен монголь­ских кибиток. Сорок лет он, так сказать, дремал под на­метом тайши и, кажется, не помышлял о своем величии, пока вражда и опасение, вызвав его на защиту собствен­ной жизни, не повели от удачи к удаче. Скоро он подчи­нил себе все племена монгольские и в общем собрании монгольских старейшин заставил наименовать себя, помнится в 1202 году, ханом Монгольским. Первый шаг к владычеству был сделан, и. прелесть победы повлекла властолюбивую и ненасытную душу от завоевания к за­воеванию. Обстоятельства благоприятствовали его успехам. Тибет, где не было еще придумано Далай-ламы, не имел очаровательной власти над воображением; в Китае царствовала династия Сон, заснувшая в беспечности и роскоши. Персия была разорвана на части. Калифат, Ви­зантия и хан Хораземский казались важными лишь за неявкою победителей. Россия истощала свои силы в жал­ких удельных распрях... Но я говорю об этом с вами, по­лагая, что вы знаете сколько-нибудь историю.

– Я читал, – отвечал закрасневшийся Алексей, сты­дясь своего малознания, – хотя и не знаю всего подробно.

– Таким образом, – продолжал воевода, – ничто не могло противиться успехам ононца, и кровавая рука его, опустошив среднюю Азию, отяготела даже и над нашим любезным отечеством. Было время, когда прекрасные рос­сиянки были увозимы из родного края в пустыни Монго­лии, дабы там коротать горькую жизнь в объятиях ка­кого-нибудь плосконосого бурята ...

Занимаясь сим рассказом, воевода не приметил, что лодка слишком далеко удалилась от берега. Между тем начал подувать ветерок, и стекловидная поверхность моря стала рябиться.

– Барин! – вскричал кормчий. – Не прикажете ли назад? Не ударила бы горная.

– Хорошо! Правь назад!

Но едва лодка поворотила назад и отъехала сажен с двадцать, как ветер начал крепчать приметным образом. Гребцы удвоили силы, но берег был слишком далек. Бу­ря усиливалась, и валы стали расхаживаться по морю. Наконец туча набежала на солнце, полился дождь, и уда­рил страшный ураган. Море закипело, и каждая волна, с яростью и с пеною упадая на лодку, готова была ее поглотить. Лодка то вбегала как бы на вершину утеса, то стремительно повергалась в пропасть.

– Куда ты правишь? – спросил воевода у кормчего.

– Теперь воротиться назад, – отвечал кормчий, – уже нельзя, надобно держать вдоль по валам, пока не утихнет буря.

– Хорошо! Правь как умеешь, только не робей!

– Не сробеем, ваша милость! Наше дело привычное! Бог милостив! Как-нибудь выпутаемся из этой каши, лишь бы только руль не изменил...

Но в эту самую минуту ураган ударил сбоку, и корм­чий, сильно повернув рулем, дабы удержать лодку по на­правлению валов, переломил его.

– Ну, теперь беда! – вскричал он, побледнев от стра­ха. – Без смерти смерть!

– Не робей! – вскричал воевода, выхватив весло у гребцов и подавая его кормчему, – Правь, сколько мо­жешь!

Кормчий, употребляя величайшие усилия, опять дал было должное направление лодке, но вскоре ужасный вал обрушился над кормою и вышиб весло из рук его, за­плеснув лодку до половины водою.

– Гибнем! – вскричали все в один голос, исключая воеводы и Алексея, который не столько думал о собст­венной жизни, как о жизни своего благодетеля.

– Не унывайте! – воскликнул воевода, взглянув назад. – Еще есть надежда!

В самом деле, в недальнем расстоянии от лодки бе­жало судно. Погибающие удвоили крики, и с судна была спущена лодка для их спасения. Между тем туча уже пронеслась по небу, а с тем вместе и буря начала ути­хать. Спасители приближались, и хотя не без труда и усилий, но успели пересадить всех погибающих на свою лодку. Воевода вышел после всех. Ветер тогда совершен­но утих, и лодка приблизилась к судну.

На сем судне находился губернатор. После первых приветствии с воеводою губернатор обратил внимание на Алексея.

– Это не тот ли молодой человек, – спросил он вое­воду, – о котором вы писали?

– Он самый.

– Так я поздравляю тебя: ты совершенно оправдан. После моего ответа в Иркутске случилось происшествие, которое показало твою невинность.

Губернатор рассказал в кратких словах, в чем заклю­чалось сие происшествие, и в заключение сказал:

– Теперь, если ты хочешь, можешь возвратиться в Иркутск; я беру тебя под свое покровительство.

Алексей был вне себя от радости, но любя горячо своего добродетельного начальника, не хотел с ним рас­статься и выпросил позволение только съездить в Ир­кутск на несколько недель.

Через два дня судно побежало обратно из Посольской прорвы, и Алексей, попеременно обуреваемый радостью и печалью, надеждою и отчаянием, полетел на давно ожиданное, но еще неверное свидание со своею милою Натальею.

Между тем, пока он находится в дороге, мы расска­жем читателю, какое происшествие случилось в Иркутске.

**ГЛАВА XII**

Вверх по Ангаре, верстах в десяти от Иркутска, по­среди гор и дремучего леса, стояла заимка давнишнего знакомца нашего Груздева, имевшего на ней кожевенный завод.

В начале и в конце каждого месяца ездил он осмат­ривать свое заведение. Так было и в начале августа, неза­долго до губернаторского отъезда. День был ясный и теплый. Груздев располагался напиться на заимке чаю и, приказав сделать для сего нужные приготовления при­казчику Лисицыну, послал позвать задушевного друга своего Запекалкина.

– Рад бы сердечно, – говорил явившийся по сему призыву Запекалкин, – составить вам компанию, Фома Яковлевич, да признательно сказать вам: побаиваюсь. Ведь нынче опять, говорят, усилились разбои. Какой-то Коровин...

– Да это тот мошенник, который у меня вез товары да просрочил. Вот они, плуты, каковы! Чем бы работать, а он разбойничать пустился. Ведь, помнится, ты сказы­вал, – спросил Груздев, обратившись к приказчику, – что Коровина чуть было не уходил Неудачин?

– Как же! – отвечал Лисицын. – Ведь леший его бросил с превысокого утеса, да не околел, окаянный! Ведь он мужик премогучий! Выплыл-ста, да, пока Неудачин с командою был на берегу, все лежал не шевелясь у берега, залезши в траву.

– Вишь, мошенник! – говорил Груздев, – на это так достало проворства, а исполнять свою обязанность, так нет-ста; к делу губа не льнет!.. Ну что, все ли го­тово?

– Все!

– Ну вели же подавать лошадь. Пойдем, Федул Меркулыч!

– Эх, Фома Яковлевич! Нельзя ли уволить: ведь у меня есть еще и работишка в канцелярии.

– Стыдись, Федул Меркулыч! Кажется, нам с тобой некстати быть трусами: мы и не на то решались, да не боялись.

– Особ-статья, Фома Яковлевич! На бумаге-то мне и черт не брат, а как разложат раба божьего на огонь да припрыснут горячим веником: так это дело десятое!

– Полно, полно, Федул Меркулович! Поедем! Я при­казал взять с собою добрую бутыль вишневки, а ведь ты знаешь мои наливки?

Запекалкин долго колебался; наконец мысль о истин­ном наслаждении вишневкою одолела представление сом­нительной еще опасности, и он согласился.

Между тем приказчик, выйдя во двор, наскоро завер­нул в огород, сказал несколько слов какому-то мальчиш­ке, и тот, кинувшись опрометью по огороду, перебросил­ся через частокол на улицу. После сего приказчик обрат­но вошел во двор и вскочил на козлы телеги, приготов­ленной для путешествия.

По приезде на заимку и по осмотре завода Груздев расположился с Запекалкиным пить чай на стоявшем по­среди комнаты в главном строении большом столе. При­казчик же, хлопоча о вскипячении воды, молоке и проч., беспрестанно то убегал, то прибегал назад. На лице его приметно было какое-то особенное беспокойство. Наконец медный чайник с вскипяченною водою был подан и бу­тылка с наливкою раскупорена.

– А что, Фома Яковлевич! – спросил Запекалкин, принимаясь за рюмку. – Полно, не в этот ли день прош­лого года отправился к отцам нашим почтенный наш гос­подин ревизор?

– И то чуть ли не севодни?.. Нет, кажется, раньше. Ну да все равно, выпьем-ка за упокой его души, Федул Меркулович! Ведь он, покойник, любил потягивать...

– Да, вечная ему память! На своем веку, знать, до­вольно осушил ведерков. Посмотрел я его на вашем сго­воре! Ах господи! Словно бочка бездонная! Вот и мы, кажется, – слава богу! – пьем не первый год, да нет: да­леко кулику до Петрова дня! Что-то теперь он попивает, сердечный!

– Ну не все коту масленица, бывает и великий пост. Пожил, полукавил! Об нем, брат, я не жалею: туда и до­рога! То худо, что моя нареченная невестушка благо на­шла случай да направила лыжи.

– А что, Фома Яковлевич, известно ли, где она об­ретается?

– Кабы известно было, так я бы достал ее и на дне морском. Пытался я узнавать, да нет, словно, как гово­рит моя старуха нянька, в камский мох провалилась.

– Видно, по батюшке пошла. Правдиво говорится: яблоко недалеко от яблони падает. Уж, кажется, мы с ва­ми, Фома Яковлевич, поработали тут прилежно: да нет, удачи не пало!

– Ну, авось либо еще выползет откуда-нибудь! Впро­чем, теперь уж трудно: время настало другое, с нынеш­ним губернатором пива не сваришь!

– Эх, Фома Яковлевич, не мытьем, так катаньем, а все-таки своего не потеряем!

– Хорошо, если бы так, тогда бы я тебя попросил, Фома Меркулыч, и еще сослужить мне службу...

– А какую бы это?

– Подвинься-ка ко мне поближе, а ты, Лисицын, выйди на минуту.

Приказчик вышел из комнаты, и когда он проходил по сеням, то грубый голос остановил его:

– Что, пора?

Груздев, услышав сей голос, отворил дверь и спросил приказчика:

– С кем ты говоришь?

– С работником, – отвечал хладнокровно приказ­чик. – Спрашивает, пора ли закладывать лошадь?

– Скажи, что пора!

Груздев опять запер дверь и закинул на нее крючок, потом, подвинув свой стул к Запекалкину, сказал сему последнему:

– Ты, чай, слыхал, Федул Меркулыч, что ведь плут Неудачин много нагрел руки, когда ловил Бузу?

– Не раз слыхивал, так что же?

– Так вот что: хочется мне сбить спесь с этого плута. Ономедни, слышь, при самом губернаторе почти в глаза назвал меня мошенником...

«Кажется, и не ошибся!» – думал Меркулыч.

– Вспало теперь мне на ум: нельзя ли как-нибудь настрочить на него доносец, что он скрыл-де много по­личного, а в том-де числе и моего собственного немало добра пропало.

– Не поздно ли будет, Фома Яковлевич?

– А будто нельзя подвести каких-либо резонов, по­чему я молчал доселе?

– Подумать подумаю, только наверное не ручаюсь – это дело нешуточное!

– Что тут за шутки. Видишь, я не хочу шутить.

Груздев сунул в карман Запекалкина целковый, и сей последний, засмеясь плутовским смехом, сказал:

– Хе-хе-хе! Вот так-то лучше, а то ведь сухая ложка рот дерет!

– А вот и еще промочим его!.. Ну-ка остаточки, Фе­дул Меркулович! Твое здоровье!..

– Так и быть, Фома Яковлевич! Уж как будто от­говориться не мог: выпьем еще, да и домой пора. Уж смеркаться начинает! Вынеси бог без отрепья из поскон­ного ряда!

– Ах ты чадо Меркулово! Ты все еще трусишь! Не стыдно ли тебе? Да смеет ли этот мерзавец Коровин и на глаза-то ко мне явиться? Да явись-ка он ко мне... Ах, господи, это что такое?

Несколько ужасных лиц уставилось в окошки, двери слетели с крюка, и Коровин со сверкающими глазами вбежал в комнату, ударил прикладом о пол и грозно спросил:

– Что прикажешь, Фома Яковлевич? Я здесь!

Запекалкин едва не умер от страха и сидел, не смея даже мигнуть глазом, но Груздев после первого испуга тотчас смекнул коварство приказчика и, стараясь скрыть свой страх, довольно спокойно отвечал разбойнику:

– Коровин, я знал наперед, что тебя увижу здесь, хотя плут приказчик и старался скрывать это. Я дал ему волю, потому что сам давно хотел увидеть тебя.

Хладнокровие, с которым говорил Груздев, изумило разбойника. Он был не в силах предаться той ярости, с какою прежде хотел напасть на своего давнишнего зло­дея, и довольно мягко спросил Груздева:

– А что так захотелось тебе видеть меня?

– Да то, что я сам давно уж чувствовал, что поступил с тобой слишком жестоко. Между тем годы ведь не стоят, а бегут. Подходит, брат, старость, и время к раз­делке: так пора и починивать прежние прорехи. Вот я и хотел видеть тебя да поговорить с тобою.

– Говори, – отвечал разбойник, – я буду слушать, только проворнее, чтобы не наскучило моим ребятам...

– Твоим ребятам! Вот то-то, Коровин! Были и у те­бя дети...

– А разве не ты, злодей! – вскричал Коровин, запыхаясь от ярости. – Не ты разлучил меня с ними?

– Я, – отвечал Груздев, все еще разыгрывая с ис­кусством свою ролю, – но я же и хочу загладить свой грех. Недавно пришел ко мне твой товарищ – Томилов. Я расспрашивал его о твоих жене и детях. Они еще жи­вы. Васютка твой стал уж удалой парень...

– Да, – говорил разбойник, приметно начиная успо­каиваться, – он теперь уж лет четырнадцати...

– Томилов сказывал, что он тоже уж начинает пус­каться в извозы и кормит свою мать. Только та, слышь, глаз не осушает: все о тебе день и ночь тоскует, говорят, иссохла словно былинка...

Разбойник задумался и, упершись на ружье, качал головою, глубоко вздыхая. Груздев, не упуская сего бла­гоприятного для него расположения, продолжал:

– Так я и хотел увидеть тебя. Вот тебе на первый раз десять целковых. Оставь, брат, свое ремесло! И если боишься прийти в город, то назначь какое-нибудь место или придумай другой какой-нибудь способ, чтоб я мог тебе еще сотни две-три рублишков накинуть...

– Груздев, не обманываешь ли ты меня?

– Разумеется, что обманывает, – сказал вошедший в комнату Лисицын. – Слушай его: он тебе наскажет со­ловья на сосне!

– А ты, плут, давно ли стал честным? – говорил Груздев, не смутясь нимало его нападением, – Не тогда ли, как насказал мне и невесть что на Коровина и вы­гнал его в шею? Или теперь, когда хотел продать меня, как Иуда? Верь ему, Коровин, коли хочешь, а меня вели зарезать!..

– Зарезать тебя мне недолго. Но еще спрашиваю тебя: не обманываешь ли ты меня?

– Нет, Коровин, не вечно мне обманывать, а тебе грабить: пора подумать и о смерти. И у тебя уж седина стала выглядывать, а у меня и подавно.

– Так ты не лжешь, что хозяйка моя еще жалеет обо мне и Васютка еще жив?

– Я тебе уж сказал; не веришь, так прикажи меня резать.

– А что, не говорил ли Томилов, помнит ли меня Васютка?

– Как же не помнить! Ты, слышь, с языка у него не сходишь. Только у всех приезжих и спрашивает: не видали бачка! Здоров ли бачка? А как, говорят, ска­зали ему, что ты пошел недоброй дорогой, то так, слышь, слезами и залился. Знать, он позабыл, нас с матушкой, говорил он, горько рыдая...

– Так погибни же, проклятое ремесло! – вскричал Коровин, бросив на пол ружье. – Товарищи, выбирайте другого: я более не атаман ваш!

– Видим, что ты не атаман, а изменник! – закричал за окном страшный голос. – Стреляйте в него, ребята!

Четыре ружья уставились в окна, раздались выстре­лы, и пробитый насквозь пулями Коровин упал на пол, обливаясь кровью и, умирая, произнес дрожащим голосом;

– Прощай жена! Прощай сын!

– Не удалась ваша хитрость, Фома Яковлевич! – шепнул Запекалкин Груздеву. – Нельзя ли еще что-ни­будь придумать!

– Теперь твоя очередь!

Между тем разбойники вбежали в комнату, и один из них, по росту и по страшному виду бравший пред прочими преимущество, вскричал:

– Ребята, тащите этих чертей на дерево; они лиши­ли нас атамана, так не отпускать же их живыми.

– А меня за что? – спросил Лисицын. – Разве не я подвел вас сюда? Разве не я уведомил атамана?

– Ты, брат, это делал не даром. А помнишь ли, как я однажды вошел было в дом этого собаки (он указал на Груздева) попросить милостыни, а ты меня прогнал в шею? Я тогда же тебе сказал: «Смотри, отольются кошке мышьи слезы». Теперь, брат, это время наступи­ло. Тащите его!

– И поделом тебе, мошеннику, – говорил Груздев, – сам наскочил на нож!

– Да и ты не уйдешь от нас!

– Вы слышали, что я говорил вашему атаману, что я смерти не боюсь, – убейте меня, только что вам поль­зы? Один разве грех на душу? А если оставите меня живого, то можете получить много, ведь вы знаете, что я богат.

– Распевай эти песни, распевай! Отпусти тебя, так получишь журавля в небе!

– Нет, не журавля, а добрый выкуп. Назначьте его сами. Вот родной брат мой. Он останется пока в ваших руках, и если я не вернусь к утру, то вы властны сде­лать с ним что хотите. А вы знаете, променяет ли кто брата на деньги?

– Какой это брат его! – вскричал один из разбойни­ков, долго всматривавшийся в Меркулыча, у которого от страха оцепенел язык, так что он не мог выговорить ни слова. – Да это подьячий Запекалкин! А, дружок! Ха- ха-ха, попался ты теперь в наши лапы! Помнишь ли, как ты прочитал мне приговор да поздравил насмешливо с царской милостью и после, как начали меня наказывать, забавлялся над моим криком и приговаривал: «Поддай­те, поддайте ему». Посмотрю я, как ты теперь засме­ешься.

– Так это, Ерёма, точно не брат его?

– Такой же брат, как ты сатане.

– А, так вы, дружки, вздумали обманывать нас, та­щите их, ребята!

– Да чем нам самим-то трудиться над ними, – сказал Ерёма. – Пусть-ка они сами давят друг друга!

– И в самом деле! – вскричали с зверским хохотом разбойники. – Ай да Ерёмка! Ты настоящий бес на вы­думки.

Разбойник, обиженный приказчиком, на него первого накинул веревку и, зацепив за дерево, отдал конец Груздеву и Запекалкину.

– Ну-ка, подымайте, – кричали разбойники, – своего друга! Дружнее! Вот гак!

Груздев еще сохранял присутствие духа, может быть, в надежде на свою хитрость и не мог скрыть злобы сво­ей к приказчику.

– Поделом, – говорил он, – вору и мука.

– Не радуйся, – отвечал приказчик. – И тебе то же будет!

Первая сцена кончилась.

Разбойник хотел было закинуть веревку на Запекалкина; но тот из них, который питал к нему особенную злобу, выхватил веревку из рук товарища и сказал:

– Ты свою очередь отвел, теперь дай мне потешить­ся. Послушайте, ребята! Давить его для меня мало: он сильно обидел меня!

– Ну так делай с ним что хочешь!

– В мешок его да в воду!

– Ладно!

Принесли мешок. Два разбойника взялись держать его, а Ерёмка с дьявольскою усмешкою принуждал Груз­дева класть осужденного. Запекалкин сделался в сию ми­нуту почти полоумным. Он посинел и дрожал как лист, готовый, подобно змее, ужалить и умертвить ближнего своего втайне, он подобно ей и свертывался, так сказать, в клубок, когда видел над собою грозу. Мы уже знаем, в какое он пришел положение при нападении на него Доброкваскина; чего же не можно было ожидать от него теперь?

– Отцы родные! Благодетели! – кричал он, ползая на коленях пред разбойниками. – Не убивайте меня! От­пустите Душу на покаянье, Что вам в моей смерти! Взгля­ните на меня: и без того я еле-еле на человека похожу...

– Видим, что не походишь, – подхватил Ерёма, и все разбойники зверски захохотали.

– Батюшко! Фома Яковлевич! Спаси меня! Заплати за меня выкуп! Я для тебя душу свою закладывал...

– Эх, Федул Меркулович! Я за себя-то заплатить едва сберусь, а где же мне взять и за тебя еще?..

– Ребята! Уж смеркается! – вскричал первенствую­щий разбойник. – Вить думает разжалобить! А сам преж­де не думал жалеть; было весело, как другого наказыва­ли! Теперь пришла наша очередь повеселиться! Ну при­нимайся, Груздев, клади его!

Безжалостный и бездушный, Груздев, могший двад­цать раз выкупить двадцать Запекалкиных, взял старин­ного приятеля своего и соучастника во всех своих мошен­ничествах за ноги и положил в мешок. Запекалкин не преставал вопить самым пронзительным и отчаянным го­лосом, но вопли его производили только смех в разбой­никах. Его отвезли на средину реки, приказали Грузде­ву бросить мешок, вода всколыхалась, и чрез несколько минут река опять потекла по-прежнему...

– Ну, что с тобой станем делать теперь, дружок? – спросил тот же разбойник. – Товарищей своих уходить у тебя рука не дрогнула!

– Я сказал вам, что получите за меня выкуп.

– Ладно! Мы это уж слышали... Ну как думаете, ре­бята, что с ним делать?

– А мы думаем: отрубить ему руки и ноги, связать с телом атамана да и зарыть в землю! Пусть идет к чер­ту на ужин!

– Ну так принимайтесь же!

В сию страшную минуту все хитрое спокойствие Груз­дева мгновенно исчезло. Он начал умолять разбойников самым жалостным, самым унизительным образом, но ничто не смягчило жестокосердых злодеев, которые жела­ли мучить его частью в отмщение за атамана, но более и для собственного страшного и непостижимого удоволь­ствия, которое, наконец, душа, привыкшая к убийствам, обретает в мучении другого. Уже Груздев, лишенный ног, плавал в крови, и еще убийственной топор был уже за­несен над ним, как вдруг послышался топот многих ло­шадей, скачущих во всю прыть. Устрашенные разбойни­ки бросили несчастную жертву, схватили ружья и кину­лись в лес. Опасение их было справедливо. Один из заводских работников, успев скрыться при нападении их, дал знать в город и по распоряжению тамошнего началь­ства немедленно был отправлен на завод отряд казаков.

Груздев по привезении его домой, ослабев сколько от жестокой боли, столько же и от потери большого коли­чества крови, почувствовал приближение смерти и велел позвать священника. Он признался на исповеди в погублении Жолобова и Алексея, и только казалось, прови­дение не хотело более. Воображение его ужасно расстрои­лось.

– Батюшко! Батюшко! – говорил он, хватая за руку священника. – Пожалуйста, уведите Запекалкина.

– Мы одни, здесь нет более никого.

– Боже мой, никого! Да вот, вот он! Стоит на коле­нях. Слышите: просит выкупа?.. После, после! Дай мне кончить исповедь!.. Не дашь? Как ты не дашь, злодей!

Священник, желая как-нибудь успокоить его, сказал ему:

– Хорошо, Фома Яковлевич, я его выведу, – и вы­шел на минуту из комнаты.

Груздев как будто бы опять пришел в себя и хотел опять продолжать исповедь, но в сию минуту дети его, Григорий и Маланья, в полном смысле собаки, сорвав­шиеся с цепи, обыскивая с ужасною взаимною браныо отцовские потайники, вбежали без малейшей осторожно­сти в горницу.

– Батюшко!.. – вскричал умирающий. – Он опять бежит!

– Нет, это дети ваши!

Больной что-то хотел еще, казалось, сказать на сие, но от сильного страха потерял употребление языка.

– Беспутные! – говорил справедливо огорченный свя­щенник. – Вы лишили своего отца его последнего бла­га: он не может уже принести покаяния, у него отнялся язык.

– Как? Неужели? – вскричал Григорий, выдвигав­ший и задвигавший в сие время столовые ящики, в кото­рых он искал ключи. – Отнялся язык! Следовательно, уж не может и сказать, где хранятся у него деньги... Ба, да он еще глядит! Постой я напишу на бумажке!

Развращенный сын, несмотря на упреки священника, написал на бумажке: «Укажи, если можешь, где хранят­ся у тебя деньги», – и поднес ее к отцу. Сей последний гневно посмотрел на него, собрал последнее усилие, взял бумажку, положил ее в рот, изжевал, проглотил и закрыл навсегда глаза...

Священник с горестью прочитал над ним глухую ис­поведь и отходную и, выходя из дома, где он видел столь ужасные примеры мучения совести и развращения сердец, думал в течение дороги: «О, лучше умереть с голоду в бедности и в нищете, чем посреди богатства столькими мучениями, оставляя, сверх того, столь нечестивых детей!»

**ГЛАВА XIII**

Подробности происшествия, рассказанного в предыду­щей главе, Алексей по приезде в Иркутск узнал от Неудачина, у которого он остановился в доме, ибо старуш­ки Сидоровны, его воспитательницы, уже не было на све­те. Неудачин принял его с радостью отца.

– Батюшко, Алексей Федорович! – говорил он, уса­живая Алексея в первое место. – Да что это? Да как это? Да откуда тебя бог принес? Дорогой ты гостенек наш! Жена, эй жена! Поди проворнее: Алексей Федорович приехал! – Потом, когда утишился восторг первого сви­дания, Неудачин обратил разговор на любимый предмет: постройку дома. – А я так, Алексей Федорович! – гово­рил он, – уж года три, как здесь живу да поживаю. Вот уж и домик отстроил! Каков, как вы находите? Пойдемте-ка, посмотрите наши затеи!

– Побойся бога, Васильевич! – сказала Неудачину жена его. – Куда ты тащишь гостя-то! Эк, батько, глаз обогреть не дал!

– Ну полно хорохориться! Поди-ка лучше приготов­ляй чай, а мы между тем посмотрим что надобно...

– Я вижу, – сказал Алексей, осмотрев дом Неудачина, – что у вас все строение новое, верно, вы купили од­но место?

– Нет, был и дом, да сгорел.

– Каким же образом?

– Да признаться (только, чтоб жена не услышала!): я сам сжег его.

– Отчего же так?

Неудачин рассказал ему историю пожара, и Алексей, кинувшись обнимать его, вскричал:

– Ах, как вы добры, Гаврило Васильевич! Но ска­жите, ради бога, не знаете ли вы, где же теперь моя На­талья?

– Твоя Наталья! Так ты все еще любишь ее! Ведь носился слух, что ты уж женился на другой...

– Этот слух был распущен злыми людьми.

– Смотри, пожалуй! Знать, и это была работа Груз­дева!.. Как же, жива! Нынче только я узнал об этом. Но не знаю, не опоздали ли вы, мой сердечный: ведь она, сказывают, уж дала обещание вступить в монахини.

– Неужели? О боже мой!

– Ну уж скорее и «боже мой!». Ах вы люди нынеш­него века! Перенимали бы вы у нас, стариков, так дело­-то было бы лучше! Что тут горевать?.. Если хотите, я съезжу к преосвященному. Он человек – уж подлинно сказать – добрый и притом преумный. Я расскажу ему все ваши обстоятельства. Так, наверное, он разрешит ва­шу невесту от ее слова. Ведь она думала, что вы обманули ее, а теперь дело выходит совсем иначе...

– Ах, помогите мне, Гаврило Васильевич! Будьте моим вторым отцом!

– Хорошо, хорошо! Не кручиньтесь! Все бог испра­вит! Вера на него всего лучше! В жизни у меня было множество случаев: иногда, бывало, совсем пропадаешь, ан вдруг придет помощь, откуда и на ум не вспадало!

Неудачин объяснил преосвященному, что Алексей был уже сговорен с Натальею, что брак их разорван был хитростью и пронырством злых людей, что, несмотря на продолжительное время, Алексей сохранил одинаковую привязанность к своей невесте, что пострижение ее мо­жет совершенно убить его и проч. Словом, он говорил так дельно и основательно, то архиерей, муж самой строгой нравственности, не нашел никакой причины от­казать в его просьбе и обещал сказать начальнице мона­стыря, чтобы она, если Наталья все еще чувствует преж­нюю склонность к своему жениху, уволила ее от постри­жения и дозволила ей возвратиться в свет. Сие обещание преосвященный по чрезвычайной доброте своей души выполнил в тот же день. Неудачин, узнав о сем, поспе­шил уведомить Алексея и предложил ему ехать вместе с ним к игуменье, которая по приезде их немедленно при­звала к себе Наталью, а Неудачина и Алексея выслала с другую комнату.

– Любезная дочь! – сказала игуменья пришедшей к ней Наталье. – Я так всегда называла тебя, надеюсь, ты дозволишь мне так называть тебя и вперед...

– Матушка! – отвечала с некоторым удивлением На­талья. – Я буду всегда считать за счастье, если вы не от­кажетесь называть меня именем дочери. Вы наша мать – мы все ваши дети!

– Я была теперь, дочь моя, у преосвященного...

Наталья немного вздрогнула, но мгновенно успокои­лась, подняла к небу взоры и потом с величайшим сми­рением сказала:

– Кажется, я не ошибаюсь о причине вашего посе­щения. Я давно была готова совершенно устраниться от мира и забыть в нем все, – при сем слове невольный вздох вырвался из груди ее.

– О чем же вздыхаешь ты, дочь моя? Если в серд­це твоем тлеется еще искра прежней привязанности, то не лучше ли тебе оставить свое намерение? Ты знаешь, что из-за этих стен возврата уже нет.

– О, сохрани господи, чтобы я погубила душу свою преступным раскаянием! Я решилась твердо и, надеюсь, что господь укрепит меня и заглушит в моем сердце вся­кое грешное чувство.

– Друг мой! Твоя живая вера, конечно, достойна всякой похвалы, но бог для того и дал ум человеку, что­бы он мог соображать свои намерения со своими силами. Подумай, что бы ты почувствовала тогда, если бы, посту­пив в монашество, или, что все равно, умерла для света, ты вдруг узнала, что жених твой всегда был тебе верен...

– Матушка! Перестаньте, ради бога!

– Что полученное твоею покойной нянею письмо бы­ло подложное...

– О боже мой! За что вы хотите мучить меня этими словами?

– Что жених твой, не переставая тебя любить по-прежнему, наконец, оправдался в вине, на него взводи­мой, и приехал в здешний город, узнав, что все надеж­ды его уже погублены, умереть от горести...

– О боже мой!.. О матушка! – вопияла Наталья, упа­дая на стул. – Что вы со мною делает®?

– Ну так, дочь моя! Я вижу теперь ясно, что ты, вступив в наш чин, вместо спасения, навек погубила бы свою душу. Благодари же господа, что он спас тебя от гибели!

– Как! Неужели вы хотите выгнать меня? О, прос­тите меня! Ради бога, простите! Дайте мне еще немного времени; я исцелюсь от моей злополучной страсти или буду просить господа, чтобы он избавил меня от сей жизни...

– Дочь моя! Я хотела испытать твое сердце и те­перь без укоризны в совести моей могу сказать тебе, что я тебя освобождаю от твоего обещания. Иди с миром от­сюда и наслаждайся жизнью; жених твой жив и тебе верен. Он здесь!

Игуменья подала знак. Алексей вошел. Наталья вскрикнула, пламенный юноша бросился было обнять ее как свою невесту, но она вдруг остановила его и с неожи­данной твердостью духа сказала:

– Между мною и тобою уже лежит пропасть: я обе­щала быть невестою Христа и должна разорвать все зем­ные привязанности.

Алексей, как пораженный громовым ударом, стоял неподвижно, бледный и трепещущий, и не мог выгово­рить ни слова. Положение его тронуло игуменью, жен­щину умную и добродетельную, и она сказала На­талье:

– Дочь моя! Ты за минуту видела, сколь мало мож­но человеку надеяться на свою твердость, когда в душе его не погасли еще мирские привязанности. Ты не мо­жешь сказать, если не захочешь солгать пред богом, что­бы не любила этого юношу? Отвечай мне: правду ли го­ворю я?

– Ах, правду! – сказала Наталья едва слышным го­лосом, приметно смутившись.

– Так ряса не спасет тебя от мучений! Ты дашь страшные клятвы – и невольно будешь нарушать их своими мечтаниями. Ты сделаешься клятвопреступницею и, как я сказала уже тебе, погубишь себя навсегда. Сча­стлив, кто вступает в наш чин с чистыми, отрешенными от мира желаниями, кто ищет здесь единого убежища от сует и невозмущаемой беседы с богом: он обретет здесь рай, преддверие небесного! Но горе тому, стократно го­ре, кто, не излечив своего сердца от болезней света, дерз­нет осквернить собою сие святилище самоотвержения, ми­ра и любви божественной!

– Итак, мне не суждено спасти свою душу!

– Дочь моя! Пути спасения бесконечно различны. Будь верною и богобоязненною женою, воспитывай чад своих в страхе божием, старайся помогать нуждающимся, утешать печальных, облегчать страждущих, словом, носи непрестанно в сердце сию божественную заповедь: «Воз­люби ближнего твоего, яко сам себя», – и спасение твое не умедлит. Мир представляет, конечно, более соблаз­нов, но более случаев к добру. Итак, дочь моя! (Она взяла руку Натальи и подала Алексею.) Я благословляю тебя: иди с миром!

Наталья и Алексей, тронутые и восхищенные, зали­лись слезами, бросились целовать руки своей благоде­тельницы, но что чувствовали в сию минуту их сердца, столь пламенно любившие друг друга, изобразить не­возможно: нет красок для таких картин!

Время летит, не останавливается, и чем человек бла­гополучен, тем оно пролетает скорее. Так пролетели де­сять счастливых годов, как Алексей вкушал истинное на­слаждение в объятиях своей милой супруги, которой пла­менная любовь не только не погасала, но еще с каждым днем, казалось, пылала сильнее и сильнее. Два прекрас­ных мальчика, столь же милые и добрые, как их мамень­ка, которая прилагала все старание о их воспитании, бы­ли плодом верной и постоянной любви двух нежных суп­ругов. Алексей первые пять лет прожил в Верхнеудинске, получив по ревностному ходатайству своего покрови­теля воеводы два чина, что в тогдашнее время было весьма важно. Потом воевода, испросив отставку, уехал на свою родину, на берег тихой и уединенной Нейвы , а вслед за ним и Алексей также выехал из Верхнеудинска и также, выйдя в отставку, поселился в Иркутске, купив себе скромный, но чистый домик, с маленьким са­дом, недалеко от Ушаковки, которая со своими прелест­ными берегами и с возвышающеюся позади ее огромною Клубничною горою, представляла из окон домика Алек­сеева самый живописный ландшафт. Алексей не мог налюбоваться им и часто, особенно в летние тихие и ясные вечера при закате солнца, любил сидеть под окошком подле своей милой подруги, держа на коленях своих малю­ток. Алексей был так счастлив, как только может быть че­ловек счастлив на земле, где мысль о тленности всего види­мого примешивает несколько капель горести в чашу самой живой радости. Сверх того, Алексей не переставал грустить о своем благодетеле.

Однажды в меланхолическом расположении духа си­дел он на любимом своем месте, облокотившись рукою на окно.

– Что ты задумался, друг мой, – спросила вошедшая в комнату Наталья.

– Я думаю, если бы здесь был... (ты знаешь о ком говорю я!), как бы он восхищался моим счастьем, как бы любовался нашими малютками!

– Что же делать, друг мой! Здесь не суждено быть человеку совершенно счастливым. Расстаются и с родным отцом, – она вздохнула.

– Ах, Наталья! Ты знаешь, что он был мне второй отец! Я не могу вполне представить себе, сколько он за­ботился о моем счастии! И самый пример его жизни, ис­полненный христианского смирения, удивительной пре­данности богу и любви к ближним, не был ли для меня самым величайшим благом, каким в нашей стороне, столь скудной людьми, мудрыми и добродетельными, едва ли кто другой пользовался в своей жизни?.. Ах, Наталья! Тебе нечего говорить, сколько я люблю тебя, но потеря его для меня невознаградима! Я буду до конца моей жиз­ни ее оплакивать, – слезы показались на его глазах.

– Что это? Что это? – вскричал вошедший в сию ми­нуту Неудачин. – Господи твоя воля! Что за слезы? Да еще в такой день! Ведь сегодня ровно десять лет вашей свадьбе.

– Ах боже мой! – вскричал Алексей. – Мы в самом деле позабыли это. Обними же меня, моя милая!

– Вот так-то лучше! Чем бы радоваться, что гос­подь благословил вас всем счастьем, а вы вздумали хму­риться!.. Ба! Вот идет Митя со своим дружком! Зовите-ка его к себе, а я пошлю за хозяйкой да еще прихватим кого-нибудь, так вот у нас и будет пирушка... (слепые вошли в комнату)... Ну что, Митя, каково поживаешь? Откуда бредешь? Что у тебя нового?

– Да что нового у меня, Гаврило Васильевич! Раз­ве то, что вчера умерла в больнице старуха Саввишна... Вот смерть-то была! Не приведи господи, ни ворогу, ни супостату, ни злому татарину!

– Ну господь с ней! Теперь умерла, так говорить худо – грешно, а на своем веку покутила довольно! Господь батюшко милосерд, правда, да и праведен! Вон судьи Андрея Ивановича, – он обратился к Наталье, – все перевелись! Скрыпушкин, бедный, одряхлел и лежит в богадельне, а Стукаленко кончил недавно жизнь от своего любимого гнедка, которого, знать в недобрый час, захотел поласкать... Кстати, вспомнил я: получил я на днях письмо. «Благодетельница» ваша, нерчинская вое­водша... Вы, чай, знаете, что муж ее был удален после дурачеств Пирушкина от должности и вскоре пропал, ку­да не известно?

– Да! Я слышал это, – отвечал Алексей.

– Так женушка его, сделавшись нынче больна и ис­пугавшись смерти, призналась, что однажды в сердце толкнула его невпопад да и столкнула на тот свет... Но лишь только в этом призналась, как, словно на грех, и выздоровела!..

– Ах боже мой, – говорил Алексей, – какая ужас­ная участь!.. А не пишут ли вам что-нибудь о старике Хабарове? Ведь вы сказывали мне, что ваш Парфен жил в его доме.

– Этот, батюшко, человек железного рода! Его не­скоро свалит курносая! Парфен пишет, что он перестал пить и сбирается еще жениться на сестре Сибиркина... А этот дьявол совсем разорился и спился с кругу, ровно взамен Прокопья! Ну да господь с ними! Что нам до них! Пусть делает всякий, что ему любо, пусть родятся, умирают и женятся: это было и будет!.. А лучше ерни­ка, Митя, веселенькую...

Слепой заиграл, а Неудачин, схватив Алексея и На­талью за руки, начал вертеть их без милосердия и по­том сказал:

– Вот так-то лучше, чем бога гневить пустыми сле­зами! На своем веку и так довольно поплакали! Кабы кто описал все ваши похождения... Жаль, что я не горазд, а то сам бы принялся!..

– А как бы вы назвали ваше сочинение? – шутя спросил Алексей.

– Как бы назвал? Не в названье дело. Разумеется, не назвал бы «Марфида-царевна», а просто: «Дочь куп­ца Жолобова».

*1832*